



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

HD WIDENER



Hw IVwA B

21434.15.4,5

Harvard College Library



BEQUEST OF

JEREMIAH CURTIN

(Class of 1863)

RECEIVED SEPTEMBER 3, 1913

Винд
21434.15.45

ИСТОРИЯ

ДѢТСКОЙ ДУШИ.

—
П О В Ъ С Т Ъ

не для дѣтей.

Переводъ Е. А.



Издание

И. П. Подъдосицева.

третье.



Москва.

Marie Corbin

Jeremiah Curtin

ИСТОРИЯ
ДѢТСКОЙ ДУШИ.

П О В Ъ С Т Ъ

не для дѣтей.

Переводъ Е. А.

Издание

И. П. Подъносова
третье.

Москва.

Синодальная Типография.

1899.

21434.15.4.5

Harvard College Library

Sept. 3, 1913

Bequest of

Jeremiah Curtin

2045-33

BOUND NOV 4 1914

Дозволено цензурою. Москва, 13-го мая 1899 года.

Предлагаемая книжка есть переводъ съ раз-
сказа извѣстной англійской писательницы Маріи
Корелли, подъ заглавіемъ: *The mighty Atom*
(Могущественный Атомъ).

Въ подлинникъ разсказу предшествуетъ слѣ-
дующее предисловіе автора:

Книга эта надписывается:

Тѣмъ самоименнымъ прогрессистамъ,
кои и ученіемъ своимъ и примѣромъ содѣйствуютъ
безчестному дѣлу

воспитанія дѣтей безъ вѣры,
и кой, распространяя заимствованную изъ француз-
скаго безбожія идею—

устранять изъ дѣтской души,
въ начальныхъ школахъ и всѣхъ прочихъ мѣстахъ
обученія,

ПОЗНАНІЕ БОГА и ЛЮБОВЬ КЪ БОГУ,
единныя истинныя основы доброй жизни,
оказываются виновными
въ страшномъ преступленіи, хуже убійства.

Декабрь 1897 года.



Глава I.

Весь день по всему сѣверному побережью Девона бушевала буря. Только теперь, къ вечеру, немного прояснилось хмурое небо. Волны съ сердитымъ ревомъ разбивались объ скалы, но вѣтеръ замѣтно стихалъ—и узкая, свѣтлая полоса на западѣ уже обозначала, гдѣ именно, еще скрытое за тучами, солнце появится передъ тѣмъ, чтобы окончательно скрыться за горизонтомъ. Все въ природѣ мало-по-малу входило въ тишину. Цвѣты, запуганные дождемъ, теперь силились приподнять свои нѣжные стебельки, прижатые къ самой землѣ,—и маленькая малиновка, весело выпорхнувъ изъ куста, въ которомъ нашла себѣ убѣжище во время бури, прилетѣла на окно сосѣдняго дома и, прежде даже чѣмъ распустить свои мокрыя перышки, весело запѣла, точно своею радостью хотѣла съ кѣмъ-то подѣлиться. Окно было

раскрыто, и въ комнатѣ, кромѣ маленькаго мальчика, никого не было. Мальчикъ сидѣлъ у стола, передъ нимъ была развернута книга и лежалъ большой листъ бумаги, на которомъ онъ отмѣчалъ что-то карандашемъ. Онъ, видимо, очень былъ занятъ своею работою, но онъ быстро оглянулся, когда запѣла птичка... и глаза его, глубокіе, задумчивые точно затуманились тихою грустью, пока онъ слушалъ ея пѣснь радости... Однако, продолжалось это не долго—онъ поспѣшно вернулся къ прерванному занятію и снова принялся за чтеніе развернутой книги. Было что-то неизъяснимо трогательное, что-то загадочное въ выраженіи этого блѣднаго дѣтскаго личика... Ближе и ближе къ книгѣ склонялась кудрявая головка, по мѣрѣ того какъ тусклѣе становился дневной свѣтъ.—Мальчикъ все продолжалъ читать и дѣлать свои замѣтки—а птичка, которая прилетѣла за тѣмъ, чтобы, на сколько умѣла, объяснить ему, что буря прошла, что на завтра утро встанетъ свѣтлое, пресвѣтлое—именно такое утро, какое любо всѣмъ мальчикамъ, была опечалена, что безъ радости принята была эта вѣсть. Замолкла малиновка, начала чистить свои перышки, а сама все на мальчика вопросительно поглядывала, какъ бы хотѣла сказать: „Что же это за диво? Дождь прошелъ, воздухъ чудный, цвѣты благоухаютъ, небо залито свѣтомъ, вся природа радуется и ликуетъ—

а тутъ живое, Божіе созданіе сидитъ надъ какой-то книгой, (которую, конечно, не Господь сотворилъ!) тоскуетъ и томится, и точно не понимаетъ даже, что такое радость!“

Между тѣмъ на западѣ золотистая, огненная полоса все росла, становилась все шире и шире, а вдоль всего неба, точно лучи небеснаго свѣта, проскользнувшіе черезъ полуотверстую райскую дверь, спускались прямо въ море лучисто-радужныя полосы—и вдругъ, изъ-за темной тучи, во всемъ блескѣ славы своей появилось само солнце! Мгновенно все преобразилось! Деревушка Коммортинъ, съ ея древней церковью, съ ея покрытыми соломой маленькими домиками, облитая этимъ потокомъ золотистыхъ лучей, приняла волшебный видъ, волны весело засверкали тысячею огнями, и въ потемнѣвшую комнату, въ которой сидѣлъ одинокій мальчикъ, лучъ радостный также проникъ и, какъ бы благословеніе свѣтлаго, мимолетнаго ангела, коснулся маленькой наклоненной головки.

Въ эту минуту дверь отворилась и вошелъ молодой человѣкъ со шляпою въ рукахъ.

— „Какъ, все еще за уроками!“ сказалъ онъ съ участіемъ. „Довольно, брось все это! Буря совсѣмъ стихла, пойдемъ, покатаемся на лодкѣ!“

Ліонель посмотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ и даже съ испугомъ.

— „Онъ развѣ позволилъ, м-ръ Монтрозъ?“

— „Я у него не спрашивалъ,“ нѣсколько рѣзко отвѣтилъ Монтрозъ. „Я говорю, что можно—и не только можно, но и должно! Я еще пока твой воспитатель, и знай, ты меня слушаться долженъ, а не его!...“ и онъ, шутя, погрозилъ ему рукою.

Мальчикъ улыбнулся и всталъ со своего мѣста.

— „Все это что-то очень медленно запоминается,“ сказалъ онъ, указывая на книгу и какъ бы извиняясь передъ учителемъ. „Конечно, я самъ виноватъ, но не могу не находить, что это все очень скучно, а главное—такъ не нужно. Напримѣръ, зачѣмъ мнѣ знать, сколько въ Англіи платили налога нѣкоторымъ епископамъ въ 1054 году? Право, мнѣ все равно, и думается, что всегда будетъ все равно! Какое можетъ это имѣть отношеніе къ жизни?“

— „Никакого“ отвѣтилъ, смѣясь, Монтрозъ, „но человѣкъ образованный долженъ имѣть понятіе обо всемъ. Однако, не думай больше объ налогахъ, забудь всѣхъ епископовъ и, если хочешь, даже всѣхъ королей! Посмотри, какой видъ у тебя измученный.... Какъ ты думаешь, не пойти ли намъ напиться чѣго-нибудь на ферму къ м-съ Пейнтъ?“

— „Вотъ такъ хорошо!“ съ оживленіемъ воскликнулъ мальчикъ. „Но прежде покатаемся на лодкѣ,“ прибавилъ онъ, „солнце скоро сядетъ, а

я такъ люблю смотрѣть на солнечный закатъ съ моря.“

Монтрозъ ничего не отвѣтилъ и задумался грустною думою, слѣдя за мальчикомъ, который не спѣша, аккуратно и методично складывалъ и прибиралъ разбросанныя тетради и книги. Наконецъ все было приведено въ надлежащій порядокъ, и Ліонель, взявъ свою шапочку, которая висѣла на гвоздѣ, довѣрчиво подошелъ къ молодому учителю и, улыбаясь, сказалъ:

— „Ну, готово!“

— „Ну, готово!“ передразнилъ его Монтрозъ и, надѣвъ свою соломенную шляпу, весело сбѣжалъ съ лѣстницы.

Ліонель какъ-то робко слѣдовалъ за нимъ. Когда они повернули на тѣнистую дорожку, которая прямо изъ сада вела на большую дорогу, ихъ изъ дома окликнула молодая женщина, стоявшая на балконѣ и выглядывавшая изъ-за вьющихся алыхъ фукцій.

— „М-ръ Монтрозъ, что это, открытый протестъ? Это хорошо! Всегда надо дѣлать то, что намъ говорятъ не дѣлать! Прощай, Лиля!“

Ліонель посмотрѣлъ вверхъ, улыбнулся и поднялъ свою шапочку.

— „Прощай, мама!“

При звукѣ нѣжнаго дѣтскаго голоса что-то нѣжное промелькнуло на красивомъ лицѣ, выглядывавшемъ изъ-за цвѣтовъ, и оно быстро скрылось.

Лучи заходящаго солнца освѣщали, какъ заревомъ, рощи и горы Коммортина, когда на морѣ, засверкавшемъ какъ-бы мириадами алмазовъ, появилась маленькая лодочка, которая легко неслась по пѣнистымъ волнамъ. У весель сидѣлъ Монтрозъ и гребъ съ радостной отвагой! На кормѣ пріютился Ліонель. Его задумчивые глаза съ какой-то восторженной радостью слѣдили за каждой волной, которая сердито надвигалась на маленькій челнъ и объ него же разбивалась, рассыпаясь разноцвѣтными брызгами.

— „М-ръ Монтрозъ,“ воскликнулъ онъ, „а, вѣдь, хорошо, чудно хорошо!“

— „Да, да“ отвѣтилъ Монтрозъ, сильнѣе налегая на весла—„и вся жизнь наша чудно хороша, только бы умѣть пользоваться ею!“

Ліонель не слышалъ этого замѣчанія: все его вниманіе теперь было сосредоточено на длинной нити водяной травы, которую онъ всячески старался уловить рукою. Многимъ этотъ склизкій стебель казался бы весьма непривлекательнымъ, но Ліонель понималъ всю красоту его: сотни крошечныхъ раковинокъ переплетались вокругъ него, и каждая изъ нихъ—хрупкая, нѣжная, красивая какъ жемчужина—со-

держала въ себѣ жизнь—жизнь хрупкую, какъ и она сама...

Было надъ чѣмъ призадуматься, глядя на таинственное совершенство этихъ живыхъ организмовъ!.. И, по мѣрѣ того какъ мальчикъ всматривался въ красоту этой ткани, сотканной волною, на его дѣтскую душу, какъ бы надвигалась тѣнь незримаго, непроницаемаго... и тотъ вопросъ, мучительный и страшный, который столько ученыхъ унесли неразрѣшеннымъ съ собою въ могилу—мучительно теперь сказывался и ему... Причина, цѣль, смыслъ всего созданнаго—хоть бы, напримѣръ, цѣль этого отдѣльнаго, никому не нужнаго, чуднаго міра раковинъ, какъ распознать ее... кто ее разъяснить?.. И малый ребенокъ задумался, и безсознательно душа его наполнилась той безнадежной печалью, которая выражена въ Екклесіатѣ восклицаніемъ „*Vanitas vanitatum!*“

Между тѣмъ въ небесахъ одна краса смѣнялась другой... на краю моря земля и солнце какъ-бы слились въ одно—внезапно яркое освѣщеніе потухло—и тихій сумракъ вступилъ въ свои права, окутывая таинственной дымкой берега и далекія горы.... Монотрозъ сложилъ весла, съ наслажденіемъ любясь этою красотой: она точно напоминала ему родную красоту еще болѣе живописной Шотландіи. Затѣмъ взоръ его остановился на маленькомъ его спутникѣ, который

все еще былъ погруженъ въ созерцаніе вновь найденнаго своего сокровища....

— „Что это у тебя, Ліонель?“ спросилъ онъ.

Мальчикъ быстро къ нему обернулся.

— „Цѣлыя тысячи маленькихъ существъ, живущихъ въ хорошенъкихъ, собственныхъ домикахъ!“ отвѣтилъ онъ, улыбаясь, — „смотрите!“ и онъ приподнялъ свою находку. „Вѣдь, это цѣлый городъ, не такъ-ли?— и, чего добраго, его маленькіе обитатели столько же о себѣ воображаютъ, сколько и мы.“ Но улыбка вдругъ исчезла съ задумчиваго его личика. „Что вы объ этомъ думаете, м-ръ Монтрозъ? а мнѣ такъ думается, что мы не больше имѣемъ значенія во вселенной, чѣмъ эти маленькія созданія.“

Монтрозъ на это ничего не отвѣтилъ. Онъ поспѣшно вынулъ часы изъ кармана и воскликнулъ:

— „Какъ уже поздно! Ну, голубчикъ, верни своихъ маленькихъ друзей родной ихъ стихіи, мнѣ замисловатыхъ вопросовъ теперь не дѣлай, а лучше возьми-ка весло!“

Ліонель вспыхнулъ отъ удовольствія—но, прежде нежели взяться за весло, онъ бережно опустилъ морское растеніе въ пѣнящуюся волну, которая въ эту самую минуту какъ-то ласково прижималась къ лодочкѣ. Вѣтка тихо поплыла съ волною—Ліонель проводилъ ее глазами и съ увлеченіемъ принялся грести.

Онъ гребъ всею силою своихъ слабыхъ ручекъ, а Монтрозъ, соразмѣряя свои силы съ силами ребенка, едва дотрогивался до весла. Но былъ уже часъ прилива и попутныя волны быстро влекли за собою маленькую лодку. Ліонель весь раскраснѣлся, глаза его весело блестѣли, такъ что когда онъ выпрыгнулъ на берегъ, онъ имѣлъ весело-безпечный, жизнерадостный видъ, свойственный всѣмъ мальчикамъ— даже морщинки на его лобикѣ почти что совсѣмъ сгладились....

— „Ну, ужъ и достанется же намъ, какъ вернемся домой!“—съ веселымъ смѣхомъ воскликнулъ Ліонель, указывая на потемнѣвшее небо и на свое забрызганное платье.

— „Достанется мнѣ, а не тебѣ,“ сказалъ невозмутимымъ голосомъ Монтрозъ. „Но,—такъ какъ это мой послѣдній вечеръ,—мнѣ все равно.“

Мгновенно поблекла вся радость бѣднаго Ліонеля—онъ нервно и невнятно проговорилъ:

— „Вашъ послѣдній вечеръ?—о, нѣтъ! этого быть не можетъ! Вы не то сказать хотѣли!“

— „Успокойся, мой голубчикъ,“ нѣжно глядя на него, началъ Монтрозъ. „Пойдемъ, напьемся чаю, я постараюсь все тебѣ разъяснить. Видишь-ли, малый, жизнь наша то же, что плыть по этому самому морю—не всегда оно спокойно, а намъ надо умѣть

справляться съ нимъ и въ непогоду.... Мало-ли что въ жизни бываетъ, всякая печаль приходитъ, приходится и разставаться съ тѣмъ, что намъ дорого — а все же унывать не должно! Ліонель, милый, не огорчай меня, не тоскуй такъ!”

Ліонель продолжалъ стоять молча — его личико снова стало блѣдное, и маленькій ротикъ снова принялъ привычное суровое выраженіе.

— „Я знаю!“ медленно произнесъ онъ. „Я знаю слово въ слово, что вы собираетесь объяснить мнѣ, м-ръ Монтрозъ! Мой отецъ отказалъ вамъ. Это меня не удивляетъ — я ожидалъ, что это случится скоро. Вы слишкомъ добры ко мнѣ, слишкомъ снисходительны — вотъ оно что.... Нѣтъ, я плакать не буду, право не буду,“ говорилъ онъ, украдкой утирая слезы, „вы не должны этого подумать, — я за васъ радъ, что вы отсюда уѣзжаете, но себя мнѣ жалко, очень, очень жалко! Я теперь какъ-то всегда себя жалѣю, — вѣдь, это очень малодушно! Маркъ Аврелій говоритъ, что самый презрѣнный видъ малодушія — это жалость къ самому себѣ.“

— Ахъ, брось ты этого Марка Аврелія!“ съ негодованіемъ воскликнулъ Монтрозъ.

Ліонель улыбнулся какою-то не дѣтскою, безотрадною улыбкой.

— „Ну, пойдемъ-те, теперь я готовъ,“ сказалъ онъ.

Медленными шагами стали они подниматься въ гору,—молодой человѣкъ шелъ легкой, твердой поступью, малый ребенокъ съ трудомъ передвигалъ усталыя ноги. Шли они молча: каждый былъ погруженъ въ свою грустную думу, точно предчувствуя приближеніе чего-то недобраго.... Они ни однимъ словомъ не обмѣнялись, когда вдругъ, невѣдомо откуда, прощальный лучъ, уже скрывшагося за горизонтъ, солнца огненнымъ блескомъ озарилъ землю и море и небо, и также быстро потухъ... Они даже не замѣтили этой красоты, которая въ другое время привела бы ихъ въ восторгъ. Минуя главную улицу деревни, они направились прямо къ маленькому, крытому соломой домику. Домикъ этотъ съ верху до низу обросъ вьющимися растеніями, розами, фукціями, жасминомъ, среди которыхъ, окаймленная рамкою красныхъ настурцій, скромно выступала вывѣска съ слѣдующей надписью:

К л а р и н д а П е й н ъ.

Свѣжія яйца. Лучшія сливки.

Горячее печенье.

Чай.

Въ этотъ домикъ вошелъ Монтрозъ съ маленькимъ своимъ спутникомъ.





Глава II.

Въ этотъ самый вечеръ м-ръ Джонъ Велискуртъ, позднимъ послѣобѣденнымъ часомъ, сидѣлъ за десертомъ со своимъ гостемъ с. Чарльсомъ Ласселемъ. С. Чарльсъ, человѣкъ молодой, красивый, ничѣмъ особенно не интересовавшійся, былъ всѣмъ извѣстенъ въ обществѣ. Онъ недавно познакомился съ Велискуртами, но уже считался другомъ дома. Когда Велискурты переселялись, на время „сезона,“ въ свой великолѣпный Лондонскій домъ, Лассель то и дѣло забѣгалъ къ нимъ, и всегда былъ желаннымъ гостемъ. Но появленіе его въ Коммортинѣ было совершенною неожиданностью, такъ какъ всѣ, по его же словамъ, думали, что онъ отправился въ свое собственное помѣстье. Именно въ эту минуту м-ръ Джонъ Велискуртъ подтрунивалъ надъ нимъ, не совсѣмъ ловко поднимая на смѣхъ его непостоянство.

— „Да-а!“, какъ-то сквозь зубы проговорилъ сэръ Чарльсъ,— „такова уже у меня привычка. Никогда не знаю наканунѣ, что буду дѣлать завтра! Это истинная правда, я васъ увѣряю! Вышло такъ: одинъ изъ товарищей пригласилъ меня гостить въ замокъ Вормутъ—единственно по этой причинѣ я въ данную минуту нахожусь здѣсь!“

Мистрисъ Велискуртъ, которая уже давно вышла изъ-за стола и сидѣла на кушеткѣ у открытаго окна, тутъ обернулась и улыбнулась... Ея улыбка была чудно хороша—огромные сверкающіе глаза, зубы удивительной бѣлизны придавали этой улыбкѣ какой-то ослѣпительный блескъ, который поражалъ и очаровывалъ всякаго застигнутаго ею въ расплохъ.

— „Вѣроятно, общество у васъ тамъ въ Вормутѣ самое избранное,“—иронически замѣтилъ м-ръ Велискуртъ, тщательно и осторожно снимая скорлупу съ грецкаго орѣха, который деликатно придерживалъ длинными пальцами своихъ бѣлыхъ, выхоленныхъ рукъ. „Нѣтъ никого ниже барона—а?“ и онъ засмѣялся чутъ слышнымъ смѣхомъ.

Сэръ Чарльсъ изъ-за лѣниво полуопущенныхъ вѣкъ бросилъ на него взглядъ, который заставилъ бы его содрогнуться, когда бы онъ замѣтилъ его: презрѣніе, насмѣшка, злоба, безконечная ненависть сказались въ этомъ мимолетномъ взглядѣ, который на мгновеніе

освѣтилъ его лицо какимъ-то зловѣщимъ блескомъ... Онъ потухъ такъ же мгновенно, какъ и вспыхнулъ, и въ равнодушно-небрежномъ отвѣтѣ нельзя было бы примѣтить и тѣни неудовольствія.

— „Право, точно опредѣлить не берусь! Знаю, что находится тамъ художникъ, одинъ изъ тѣхъ хвастуновъ, которыхъ называютъ „восходящими талантами.“ Важности онъ непомѣрной! Онъ исполняетъ какой-то заказъ въ замкѣ; конечно, мы съ нимъ общаго ничего не имѣемъ, но все же онъ живетъ съ нами, а не съ прислугою. Затѣмъ, какъ водится: почтенныя вдовы съ хорошенькими дочками безприданницами, двѣ, три некрасивыя, молодыя особы изъ „передовыхъ“; онѣ привезли съ собою свои велосипеды и съ утра до ночи мечутся по всѣмъ окрестностямъ, да еще нѣсколько важныхъ лордовъ, выжившихъ изъ ума. Не особенно привлекательно... Сегодня за утреннимъ чаемъ меня это общество довело до полного оупушнїа:—узнавъ, что вы здѣсь, я рѣшился проѣхаться, васъ навѣстить.“

— „Весьма любезно!“ вѣжливо сказалъ м-ръ Велискуртъ — „но позвольте полюбопытствовать, *какъ* это вы узнали, что мы здѣсь?“

Сэръ Чарльсъ закусилъ губы, чтобы скрыть едва промелькнувшую улыбку, и непринужденно отвѣтилъ:

— „О, конечно въ подобныхъ захоlustяхъ всё все знаютъ! Да кромѣ того, разъ что вы нанимаете единственный красивый, помѣстительный домъ во всемъ Коммортинѣ, вы не можете ожидать, что останетесь невидимкой. Дѣйствительно, какъ хорошъ этотъ старый домъ!“

— „Настоящая казарма,“ возразила м-съ Велис-куртъ—она въ первый разъ вмѣшалась въ разговоръ, и, пристально глядя на своего мужа, продолжала:— „домъ совсѣмъ сырой, плохо и скудно меблированъ. Конечно, его можно бы прекрасно убрать, еслибы имѣть глупость на него положить нѣсколько тысячъ фунтовъ, но въ данномъ случаѣ не могу себѣ представить, что могло побудить Джона выбрать такую отвратительную нору для лѣтняго нашего пребы-ванія!“

— „Вы отлично знаете, *что* руководило этимъ моимъ выборомъ. Конечно, я не думалъ о своихъ вкусахъ, не думалъ и о вашихъ. Ліонелю былъ пред-писанъ морской воздухъ.—я желалъ избѣгнуть шума и гама обыкновенныхъ морскихъ купаній и нежела-тельнаго знакомства моего сына съ разными дѣтьми, которыя могли бы сойтись съ нимъ, и нанялъ домъ въ Коммортинѣ потому, что находилъ и продолжаю находить, что Коммортинъ совершенно соответствуетъ всѣмъ моимъ требованіямъ. Коммортинъ стоитъ виѣ

линии всякихъ желѣзныхъ дорогъ, и потому здѣсь возможно полное уединеніе, и ничто не помѣшаетъ правильному ходу лѣтнихъ занятій Ліонеля подъ руководствомъ опытнаго воспитателя.“

Онъ проговорилъ все это внятно, медленно, отчеканивая каждое слово. М-съ Велискуртъ нетерпѣливо отвернулась и стала смотрѣть въ окно на заросшій, запущенный садъ,—въ которомъ густая зелень деревьевъ, смоченная долгимъ, утреннимъ дождемъ, мѣстами уже засеребрилась свѣтомъ тихо выплывавшаго мѣсяца... Водворилось молчаніе, которое наконецъ прервалъ сэръ Чарльсъ.

— „Правда ли,“ спросилъ онъ, „что вы намѣреваетесь разстаться съ Монтрозомъ?“

— „Я отказываю отъ мѣста г-ну Монтрозу, отвѣтилъ Велискуртъ, и непріятное выраженіе его сжатыхъ губъ стало еще непріятнѣе. „М-ръ Монтрозъ слишкомъ молодъ, слишкомъ самонадѣянъ для подобной должности. Общая черта всѣхъ Шотландцевъ воображать о себѣ слишкомъ много. Онъ уменъ—этого я отъ него не отнимаю—но онъ недостаточно приучаетъ Ліонеля къ работѣ, и онъ самъ предпочитаетъ атлетическія игры классическимъ наукамъ... Я же нахожу, что въ Англіи слишкомъ много мѣста отведено этимъ играмъ, и не желаю, чтобы весь мозгъ моего сына сосредоточивался въ

его мускулахъ. Его умственные способности должны развиваться....“

— „Въ ущербъ его физическаго развитія?“ перебилъ сэръ Чарльсъ.— „Неужели нельзя равномерно развивать и то и другое?“

— „Таково мое намѣреніе и такова моя цѣль,“ произнесъ торжественно м-ръ Велискуртъ — „но м-ръ Монтрозъ ни по своему темпераменту, ни по своему воспитанію не пригоденъ для исполненія моей задачи. Дѣло въ томъ, что онъ наотрѣзъ отказался руководствоваться составленнымъ мною конспектомъ, опредѣляющимъ лѣтнія занятія моего сына, и осмѣлился сказать мнѣ,—слышите, *мнѣ!*—что Ліонель не въ состояніи пройти подобный курсъ, что абсолютный отдыхъ для мальчика безусловно необходимъ! Нѣтъ сомнѣнія, что онъ на этомъ настаивалъ и въ виду собственаго своего удобства!.... Въ добавокъ я узналъ, къ великому своему смущенію, что Монтрозъ до сихъ поръ суевѣрно вѣритъ въ міоѣ христіанства, вѣритъ въ какого-то легендарнаго Бога, Создателя вселенной, и наконецъ вѣритъ и въ безсмертіе души!“ Тутъ м-ръ Велискуртъ уже не могъ удержаться отъ смѣха. „Конечно, это слишкомъ нелѣпо, чтобы даже вызвать негодованіе, но въ дѣлѣ воспитанія ребенка нельзя быть слишкомъ осторожнымъ.... и все же мнѣ досадно, что я раньше не

слыхалъ о дикихъ, отсталыхъ взглядахъ этого Монтроза.

М-ръ Велискуртъ взглянулъ на часы.

— „Извините, если покину васъ на нѣсколько минутъ,“ сказалъ онъ, вставая, — „теперь 9-ть часовъ, и я велѣлъ Монтрозу явиться ко мнѣ въ кабинетъ къ этому времени, чтобы получить причитающееся ему жалованье. Завтра, рано поутру, онъ уѣдетъ съ первымъ дилижансомъ.

Мистрисъ Велискуртъ тоже встала и плавною, граціозною поступью, не спѣша, направилась къ дверямъ.

— „Пойдемъ-те лучше ко мнѣ въ гостиную, сэръ Чарльсъ, поболтаемъ вмѣстѣ,“ — томно сказала она, взглянувъ на него черезъ плечо и одаривъ его одной изъ своихъ ослѣпительныхъ улыбокъ.... — „Мнѣ думается, что вы не особенно торопитесь назадъ въ Вормутъ?“

— „Нѣтъ, — *теперь* не тороплюсь....“ промолвилъ онъ съ отвѣтной улыбкой, и пошелъ за ней....

Пройдя черезъ большую, пустую залу, они вошли въ красивую, изящно убранную комнату, изъ огромныхъ оконъ которой открывался чудный видъ на всю окрестность.

М-ръ Велискуртъ отправился въ противоположную сторону и вошелъ въ маленькую каморку, бывшую раньше кладовой, а теперь превращенную въ нѣчто

въ родѣ кабинета. Здѣсь Монтрозъ уже ожидалъ его. Монтрозъ былъ очень блѣденъ, и губы его были крѣпко сжаты. Проходя мимо него, Велискуртъ небрежно кивнулъ ему головой, затѣмъ сѣлъ за свой письменный столъ, изъ котораго вынулъ чековую книжку, и, обозначивъ на чекѣ цифру выше суммы, которая причиталась Монтрозу—подалъ ему листокъ. Молодой человѣкъ, взглянувъ на него, весь вспыхнулъ.

— „Благодарю васъ, м-ръ Велискуртъ,“ — сказалъ онъ, „я покорнѣйше прошу васъ выдать точную сумму, ни гроша лишняго.“

— „Какъ!“ насмѣшливо воскликнулъ Велискуртъ. „Шотландецъ, и отказывается отъ вознагражденія! Ужъ въ самомъ дѣлѣ не насталъ ли вѣкъ чудесъ?“

Монтрозъ страшно поблѣднѣлъ, но счумѣлъ совладѣть съ собою.

— „Думайте, что вамъ угодно о Шотландцахъ“, сказалъ онъ спокойно.— „Они обойдутся безъ вашего къ нимъ расположенія, и въ моемъ заступничествѣ, конечно, не нуждаются. Я отказываюсь принять то, что я не заработалъ,—въ этомъ трудно усмотрѣть чудо. Я не чувствую противъ васъ ни малѣйшаго раздраженія:—отказавъ мнѣ, вы только предупредили мое собственное намѣреніе—здѣсь оставаться дольше я бы не могъ—не хочу дѣлаться соучастникомъ преступленія дѣтоубійства.“

Еслибы бомбу вдругъ разорвало посреди маленькой комнаты, м-ръ Велискуртъ не былъ бы больше ошеломленъ.... Онъ вскочилъ со стула и стремительно кинулся на Монтроза.

— „Что — что,“ задыхаясь отъ бѣшенства, произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ, „дѣ-то-дѣто-убійство, такъ ли мнѣ слышалось? Дѣто-убійство!“

— „Могу повторить эти слова,“ спокойно сказалъ Монтрозъ — но голубые глаза блеснули зловѣщимъ огнемъ и судорожно задрожали блѣдныя губы — „*дѣто-убійство!*... Запомните — ихъ, вдумайтесь въ нихъ! У васъ только одинъ ребенокъ, мальчикъ хорошій, любящій, способный, воспріимчивый — слишкомъ воспріимчивый! И вы его губите своими суровыми предписаніями, своей зловредной „системою“ воспитанія! Вы лишаете его всѣхъ тѣхъ развлеченій, которыя необходимы для его здоровья, вы не даёте ему товарищей его лѣтъ, вы поставили его молодую жизнь въ такія рамки, что эта жизнь превратилась въ ежеминутную пытку — и я утверждаю, что вы надъ нимъ совершаете убійство, медленное, быть можетъ, но несомнѣнное. Всякій врачъ, хоть не много свѣдующій въ своемъ дѣлѣ, подтвердить вамъ то, что говорю я теперь — т. е. всякій врачъ, для котораго правда дороже гонорара.“

М-ръ Велискуртъ схватилъ чекъ, только что имъ подписанный, разорвалъ его на клочки, открылъ дру-

гой ящикъ своего бюро, вынулъ изъ него горсть бумажекъ и золотыхъ и, сосчитавъ, кинулъ ихъ на столъ.

— „Вотъ ваши деньги,— берите ихъ, и чтобы вашего духа здѣсь не было, слышите!“ проговорилъ онъ, голосомъ хриплымъ отъ сдержаннаго бѣшенства,— „и прежде нежели осмѣлитесь снова предлагать себя въ воспитатели сыну джентельмена, научитесь знать свое мѣсто и обуздывать вашу проклятую шотландскую гордыню! А теперь—ни слова больше!—вонъ!“

Гордо откинувъ назадъ голову, Монтрозъ смотрѣлъ на своего „бывшаго господина“ презрительнымъ, испытующимъ взглядомъ бойца, готовящагося вступить въ бой,—глаза его злобно сверкнули, рука сама собою поднялась—но вдругъ воспоминаніе чего-то ему дорогого промелькнуло въ душѣ его... онъ сдержалъ свой безумный порывъ, приподнятой рукой взялъ свое жалованье, и молча вышелъ изъ комнаты.

Джонъ Велискуртъ захохоталъ злобнымъ смѣхомъ.

— „Эхъ, ты дерзкій щенокъ!“ бормоталъ онъ, „и подумаешь, что подобные субъекты получаютъ университетскіе дипломы и всякія рекомендаціи! Изумительно! Конечно, обманъ и протекція—больше ничего!... Лѣнивый, ничего не знающій хвастунишка, худшаго товарища для Ліонеля нельзя было и придумать! Съ нимъ Ліонель только научился даромъ тратить время. Я очень доволенъ, что профессоръ Кадмон-Горъ

изъявилъ согласіе пробить у насъ каникулярное время—конечно, обойдется это мнѣ весьма дорого—но за то онъ съумѣетъ исправить ошибки Монтроза, и скоро подвинетъ впередъ Ліонеля. На подобнаго человѣка вполне положиться можно и въ отношеніи вопросовъ религіозныхъ“..

Размышленія о скоромъ прибытіи знаменитаго профессора благотворно подѣйствовали на м-ра Велискурта: онъ на столько успокоился, что направился въ гостинную, гдѣ думалъ найти жену и сэра Чарльса. Однако, въ комнатѣ никого не оказалось. По словамъ прислуги, сэръ Чарльсъ нѣсколько минутъ какъ уѣхалъ, а мистрисъ Велискуртъ одна вышла въ садъ. М-ръ Велискуртъ сталъ у открытаго окна, вдыхая въ себя ароматный лѣтній воздухъ.—Утренній дождь сильно промочилъ землю, а онъ терпѣть не могъ ходить по сырости подъ мокрой листвою деревьевъ. Мѣсяцъ стоялъ уже высоко на небѣ и свѣтилъ—но онъ не былъ цѣнитель лунныхъ освѣщеній.... Благоговѣйная, таинственная тишина ночи сходила на землю. М-ръ Велискуртъ этой тишины положительно не переносилъ... Онъ закаплялъ намѣренно... каплялъ громкимъ, рѣзкимъ, крикливымъ каплемъ, и дѣйствительно однимъ этимъ звукомъ онъ уже нарушилъ гармонію чудной, поэтической картины, въ которой лѣса, и горы, и тучи, и небо, и мѣсяцъ,—все слилось въ одну

дивную красоту. Своимъ каплемъ м-ръ Велискуртъ точно ввелъ въ то, что было чисто, идеально, элементъ прозаичной, обыденной жизни, и — онъ вспомнилъ, что жены его все нѣтъ.... Садъ былъ большой, совершенно запущенный. Хотя вновь взятый садовникъ всячески старался приводить его въ порядокъ, но онъ успѣвалъ лишь чистить и прокладывать дорожки — и былъ безсиленъ въ борьбѣ съ природой, которая по своему раскинула и убрала деревья и кусты, и на все наложила свой особый отпечатокъ художественной красоты.

Дикій, заросшій садъ, видно, полюбился мистрисъ Велискуртъ — въ немъ она проводила почти все свое время. Однако, съ тѣхъ поръ какъ стоялъ м-ръ Велискуртъ у окна, ея въ саду нигдѣ не было замѣтно. Вдругъ издалека донеслись до его слуха, сперва чуть слышно, затѣмъ совсѣмъ ясно, слова какой-то веселенькой народной пѣсни, которую она гдѣ-то запѣла.

Презрительная улыбка исказила его некрасивое лицо.

— „Ей бы быть уличной пѣвицей!“ сказалъ онъ про себя, „на это у нея хватило бы умѣнья. И какъ подумаешь, что она знатнаго происхожденія, что воспитаніе получила! Какая чудовищная аномалія!“

Онъ съ трескомъ захлопнулъ окно, закурилъ сигару и пошелъ къ себѣ читать какую-то скучнѣйшую вечернюю газету.





Глава III.

На другой день, въ седьмомъ часу утра, маленький Ліонель, совсѣмъ уже одѣтый, сидѣлъ у окна своей спальни и съ нетерпѣніемъ поджидалъ появленія Монтроза. Онъ собрался проводить своего дорогого учителя и находился въ возбужденномъ состояніи... День былъ чудный, солнце ярко свѣтило на безоблачномъ небѣ, птицы какъ-то восторженно пѣли.

Различныя чувства волновали чуткую душу ребенка: грустно было расстаться съ веселымъ, милымъ, добродушнымъ учителемъ, который относился къ нему такъ ласково и одинъ понималъ его... весело, казалось, встать потихоньку, въ неурочный часъ, и украдкой, безъ вѣдома отца, выйти изъ дома... весело смотрѣть, какъ дилижансъ, съ ретивою четверней, молодцоватымъ кучеромъ и еще болѣе

молодцоватымъ красноносимъ кондукторомъ стоитъ у неуклюжаго, маленькаго почтоваго домика, носящаго смѣшное прозвище „Колода Картъ“, и наблюдать, какъ м-ръ Монтрозъ станетъ взбираться на высокое сидѣнье, и кондукторъ затрубитъ — ту-ту-ту въ свой рогъ, и какъ наконецъ тронется величественный экипажъ, и кони [помчатъ его съ неимовѣрною быстротой!.. Мудрено ли, что все это приводило мальчика въ какой-то трепеть... Но въ самомъ тайникѣ своей души онъ лелѣялъ нѣчто иное, о чемъ не повѣдалъ даже Монтрозу: онъ рѣшилъ — весь тотъ день домой не возвращаться!... Онъ зналъ, что до прибытія профессора Гора уроковъ не будетъ, а профессора ждали поздно вечеромъ, около 10 часовъ, такъ что весь день былъ въ его распоряженіи — долгій, чудный, солнечный день, и онъ сказалъ себѣ, что воспользуется имъ себѣ на радость!... Онъ вовсе не желалъ обманывать отца: эта потребность — уйти, куда глаза глядятъ, происходила отъ необъяснимаго, ему самому непонятнаго чувства — душа его устала и жаждала покоя.... Всю ночь онъ обдумывалъ этотъ свой планъ и чѣмъ больше всматривался въ него, тѣмъ больше убѣждался, что ничего дурнаго въ немъ нѣтъ. М-ръ и м-съ Велискуртъ никогда не присылали за ними иначе какъ къ завтраку — предполагось, что все остальное время онъ проводить за

занятіями со своимъ воспитателемъ: благо онъ на нѣсколько часовъ былъ сегодня лишенъ воспитателя, неужели не могъ онъ воспользоваться своею свободою? Онъ еще не успѣлъ разяснить себѣ этотъ вопросъ, когда Монтрозъ тихо вошелъ съ чемоданомъ въ рукахъ.

— „Пойдемъ“, сказалъ онъ, ласково улыбаясь. „Чу! не шуми, ступай осторожно: никто еще въ домѣ не проснулся! Хочу быть соучастникомъ твоего сегодняшняго похода! Позавтракаемъ еще разъ вмѣстѣ у м-сь Пейнъ — успѣемъ, дилижансъ придетъ еще не скоро!“

Выразивъ свою радость восторженнымъ неслышнымъ прыжкомъ, Ліонель на цыпочкахъ покрался за своимъ воспитателемъ, спускаясь съ лѣстницы точно котенокъ, краснѣя отъ радости и отъ страха, когда тяжелая входная дверь, бережно ими раскрытая и также тихо и бережно притворенная — осталась позади ихъ, и они очутились одни среди благоухающаго сада.

— „Дайте-ка, я понесу вашъ чемоданъ“, бойко и развязно сказалъ Ліонель, „я могу!“

— „А я такъ думаю, что не можешь!“ смѣясь, сказалъ Монтрозъ. „Лучше понеси моего Гомера.“

Мальчикъ принялъ книгу обѣими руками и понесъ ее съ какимъ-то благоговѣніемъ, какъ святыню.

— „М-ръ Монтрозъ, куда вы теперь поѣдете“, спросилъ онъ, „будете-ли заниматься опять съ какимъ нибудь мальчикомъ?“

— „Нѣтъ, нѣтъ еще... придется ли мнѣ когда-нибудь найти такого мальчика, какъ ты? Какъ ты думаешь?“

Ліонель серьезно подумалъ прежде, нежели дать отвѣтъ, и, наконецъ, сказалъ:

— „Право, не знаю. Вѣроятно, бываютъ и такіе. Видите, разъ ты единственный сынъ, трудно тебѣ походить на другихъ мальчиковъ—тебѣ постоянно надо стараться дѣлаться умнѣе.... Было бы, напримѣръ, у меня еще два или три брата, мой отецъ желалъ бы, чтобы, каждый изъ насъ былъ умный, всѣмъ намъ было бы легче—тогда онъ не съ меня одного бы *всего* требовалъ. Вотъ, какъ я это понимаю.“

— „Вотъ, какъ ты это понимаешь“, повторилъ за нимъ Монтрозъ, внимательно всматриваясь въ его серьезное, сосредоточенное личико. „Итакъ, ты полагаешь, что твой отецъ желаетъ изъ тебя одного извлечь умственные плоды цѣлой семьи? Что же, пожалуй что такъ!“

— „Конечно“, утвердительно сказалъ Ліонель, „и это такъ понятно—когда у васъ всего одинъ мальчикъ, вы отъ него много и ожидаете!“

— „Возмутительно много“, сказалъ про себя Монтрозъ, и прибавилъ громко: „Ничего, мой голубь-

чикъ, ты не смущайся—учишься ты совершенно достаточно и знаешь куда больше, нежели я зналъ въ твои годы! Я былъ въ школъ, въ Инвернесъ, когда былъ твоихъ лѣтъ, и почти все свое время проводилъ въ дракѣ.... Такъ-то я училъ уроки!”

Онъ разсмѣялся молодымъ, заразительнымъ смѣхомъ, и Ліонель также весело засмѣялся—до того показалось ему смѣшно, что мальчикъ проводилъ все свое время въ дракѣ! Какъ это было изумительно, какъ ново!

— „Скажите, м-ръ Монтрозъ,” воскликнулъ онъ, „изъ-за чего же вы такъ дрались?”

— „О, стоило только захотѣть, предлогъ найти было легко!” весело пояснилъ Монтрозъ. „Напримѣръ, покажется мнѣ, что у какого нибудь мальчика носъ слишкомъ длинный—вотъ, я его за носъ дерну—ну, и готово!... Драка неизбежна, если хотимъ остаться друзьями! Эхъ! чудное было то время, право, люблю вспомнить!”

— „А я никогда даже не видалъ драки,” промолвилъ Ліонель, „у меня никогда не было мальчика, съ которымъ мнѣ бы можно было драться.”

Монтрозъ взглянулъ на него, и сразу его веселое настроеніе смѣнилось другимъ.

— „Выслушай меня внимательно, мой голубчикъ,” сказалъ онъ. „Когда бы ни представился къ тому

случай, проси твоего отца отправить тебя въ школу. Скажи ему, что это единственная твоя мечта, что ты по школѣ томишься, проси, умолай—помни, что въ школѣ твое спасеніе! Ты ужъ подготовленъ вполне, и съ теперешними твоими познаніями въ школу поступишь однимъ изъ первыхъ—и будетъ тебѣ тамъ съ кѣмъ побороться и кого побѣждать. Бороться въ жизни приходится каждому, и тотъ побѣждаетъ, кто бороться научился.... Хорошо смолodu и за это дѣло браться! Скажи твоему отцу, скажи профессору, который замѣнитъ меня, что у тебя страстное желаніе поступить именно въ одну изъ нашихъ большихъ, общественныхъ школъ, Итонъ, Горра, Винчестеръ, все равно, изъ любой изъ нихъ выходятъ—*люди!*“

— „Хорошо, буду просить,“ грустнымъ голосомъ сказалъ Ліонель, „но я знаю, что мнѣ откажутъ. Отецъ объ этомъ и слышать не захочетъ! Мальчики въ общественныхъ школахъ всѣ ходятъ въ церковь по воскреснымъ днямъ—не правда-ли? Вы, вѣдь, знаете, что никогда не будетъ дозволено это....“

Монтрозъ ничего не отвѣтилъ, и они шли молча, и молча дошли до самаго домика м-съ Пейнъ. На крыльцѣ стояла сама добродушная хозяйка въ бѣломъ чепцѣ и свѣжемъ ситцевомъ платкѣ.

— „Доброго утра, м-ръ Монтрозъ! Доброго утра, м-ръ Ліонель! Войдите, милости просимъ! Все го-

тово: столъ накрытъ, открыто настѣжь окно, комната вся пропитана сладкимъ ароматомъ нашей душистой жимолости! Ничто не можетъ сравняться съ Девонширской жимолостью, развѣ только Девонширскія сливки — и будетъ ихъ вдоволь сейчасъ у васъ за завтракомъ! Что, видно, грустно маленькому барину разставаться съ добрымъ своимъ учителемъ?....“

Все это проговорила она, не переводя дыханія, и остановилась лишь, когда ввела своихъ гостей въ лучшую свою комнату, а сама выбѣжала хлопотать объ ихъ завтракѣ. Монтрозъ подошелъ къ раскрытому окну: дѣйствительно, передъ нимъ виднѣлось точно море душистой жимолости въ полномъ цвѣту — вдыхать въ себя этотъ чудный, ароматный воздухъ было одно наслажденіе!

— „Какая прелесть этотъ Девонширъ!“ — не столько Ліонелю, сколько самому себѣ сказалъ онъ, — „но все же не то, что моя Шотландія.“

Ліонель сидѣлъ у окна, видъ у него былъ усталый и унылый....

— „Вы скоро отправитесь въ Шотландію?“ спросилъ онъ.

— „Да, я теперь ѣду домой на нѣсколько дней къ своей матери.“ Молодой человекъ особенно ласково посмотрѣлъ на мальчика. „Какъ бы мнѣ хотѣлось взять тебя съ собою,“ тихо прибавилъ онъ, „какъ нѣжно полюбила бы тебя мать моя!“

Ліонель промолчалъ и про себя подумалъ, что странно было бы чувствовать, что чужая мать его любить, *какъ* родная мать никогда не любила.... Въ эту минуту м-съ Пейнъ внесла завтракъ и по свойственной ей привычѣ какъ-то вѣсторженно суеуилась, разставляя его! Дѣйствительно, чего, чего тутъ не было! И свѣжія яйца, и парное молоко, и густѣйшія сливки, и варенье, и чай, и домашній хлѣбъ, и душистый медъ, и въ довершеніе всего корзинка румяныхъ яблоковъ и сочныхъ грушъ! И все было подано такъ красиво и въ такомъ изобиліи!

Монтрозъ и его маленькій другъ приступили къ этому угощенію съ совершенно разнородными ощущеніями: у Монтроза, послѣ ранней прогулки, аппетитъ сильно разыгрался, а Ліонель отъ долгаго нервнаго возбужденія едва сознавалъ, голоденъ ли онъ или нѣтъ. Однако, чтобы не обидѣть добраго товарища, съ которымъ ему приходилось скоро разстаться, онъ постарался кушать исправно. Когда же они оба кончили, Монтрозъ обратился къ нему съ слѣдующими словами:

— „Смотри, Ліонель, не забывай меня! Если бы ты когда-нибудь вздумалъ, напимѣръ, бѣжать изъ дома,“ — тутъ мальчикъ сильно покраснѣлъ, не собирався ли онъ бѣжать въ этотъ же самый день? — „или, или — что другое съ тобою случится, тотчасъ

напиши обо всемъ ко мнѣ—письмо, отправленное въ Шотландію на имя моей матери, всегда дойдетъ до меня. Понимаешь, я тебя не уговариваю бѣжать—это дѣло страшное... но все же, если ты почувствуешь, что справиться со своими уроками тебѣ не под силу и что присутствіе профессора Гора слишкомъ гнететъ тебя—лучше бѣги... только не падай духомъ.... Еще, милый, помни, что если повторится головокруженіе, на которое ты наведни жаловался, или обморокъ прошлой недѣли—ты не долженъ больше скрывать этихъ болѣзненныхъ явленій, долженъ все сказать отцу, который и посоветуется съ докторомъ.“

Ліонель выслушалъ равнодушно-терпѣливо всѣ эти рѣчи, и, вздыхая, сказалъ:

— „И къ чему все это? Вы знаете, я не боленъ—докторъ меня недавно осматривалъ и сказалъ, что у меня ничего нѣтъ. Доктора, должно быть, не очень умны—моя мать заболѣла годъ тому назадъ и они вылѣчить ее не могли, а когда они отказались и оставили ее въ покоѣ—она поправилась! И такъ всегда во всемъ—чѣмъ больше дѣлаешь, тѣмъ хуже выходитъ!....“

Монтрозъ привыкъ не рѣдко слышать отъ мальчика такіа безнадежныя рѣчи, но въ это свѣтлое, лѣтнее утро, когда онъ самъ чувствовалъ такой приливъ молодыхъ силъ и радостно ѣхалъ домой, къ тѣмъ, кто любилъ его—одинокая жизнь этого

ребенка и трогательная покорность, съ которой онъ относился къ судьбѣ своей,—производили на него особенно тяжкое впечатлѣніе.

— „Убѣжать изъ дома“ — продолжалъ Ліонель, краснѣя, „я, можетъ быть, могъ бы на нѣсколько часовъ... но еслибы я попытался убѣжать настоящимъ образомъ, сдѣлаться, на примѣръ, матросомъ — меня бы вернули назадъ... а еслибы вамъ объ этомъ написалъ, только бы на васъ напрасно навлекъ непріятности.... Видно, вы объ этомъ не подумали, м-ръ Монтрозъ, а я такъ подумалъ.“

— „Ты слишкомъ много думаешь, вотъ, въ чемъ бѣда!“ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ возразилъ Монтрозъ.

Ему какъ-то было досадно, что этотъ 11-тилѣтній мальчикъ разсудилъ разумнѣе его, взрослого 27-милѣтняго человѣка.... Они оба замолчали. — Спусти нѣсколько минутъ маленькая, холодная ручка Ліонеля дотронулась до руки Монтроза.

— „Но я никогда васъ не забуду, *Вилли*“ — сказалъ мальчикъ, немного запинаясь надъ этимъ словомъ, „вы, вѣдь, позволили мнѣ иногда васъ такъ называть — вы самый молодой изъ всѣхъ моихъ воспитателей и самый добрый — и хотя я не могу удержать въ памяти всѣ уроки, доброту помнить могу и буду помнить всегда!“

Грустно и нѣжно глядѣли его тихіе глаза, блѣдное личико было все взволновано, и такимъ онъ казался маленькимъ, жалкимъ, одинокимъ въ эту минуту!

— „Ладно, ладно, мальчишамилый, вѣрю“, торопливо сказалъ Монтрозъ, стараясь скрыть свое волненіе — „смотри, совѣтъ-то мой вспоминай: надъ книгой не надрывайся—какъ урокъ тебя одолѣетъ—брось! И скорѣй въ лѣсъ! Высѣкутъ—не бѣда! Розги лучше, нежели болѣзнь! Здоровье первое благо—куда нужнѣе всякаго богатства!“

Въ эту минуту вдругъ весело затрубила вдали труба кондуктора дилижанса—Монтрозъ вскочилъ.

— „Пожалуй, опоздаемъ!“ воскликнулъ онъ.

Появилась м-съ Пейнъ, глубоко присѣдая, улыбаясь, повторяя всякія пожеланія.

— „Прощайте, прощайте,“ весело кричалъ ей Монтрозъ, схвативъ свой чемоданъ и скорыми шагами направился къ „Колодѣ Картъ.“

Лионель едва поспѣвалъ за нимъ. Когда они дошли, то дилижансъ былъ уже поданъ—молодцоватый кондукторъ неистово трубилъ въ свою трубу—но больше для собственнаго удовольствія, чѣмъ для чего другого!

— „Что, вы рады ѣхать, м-ръ Монтрозъ?“ спросилъ Лионель, „вы должны быть очень рады!“

— „Да, я радъ“, отвѣтилъ Монтрозъ, „но въ то же время очень мнѣ грустно тебя повидать, мой мальчикъ—я бы радъ былъ остаться здѣсь еще на время, чтобы тебя оберегать.“

— „Правда?“ вопросительно сказалъ Ліонель— „не зачѣмъ вамъ обо мнѣ беспокоиться—что можетъ со мной случиться? Ничего никогда не случается—одинъ день, какъ другой....“

— „Ну, прощай!“ Монтрозъ передалъ свой чемоданъ кондуктору и ласково положилъ обѣ руки на плечи мальчику. „Когда вернешься домой, скажи своему отцу, что я тебя взялъ сегодня утромъ, чтобы проводить меня, и что, если онъ пожелаетъ объясниться по этому поводу, онъ знаетъ, гдѣ письмо можетъ найти меня. Помни, я беру всю вину на себя! Прощай, милый, дорогой мой мальчикъ, и—и—Господь да хранить тебя!“

Губы Ліонеля судорожно задрожали—онъ силился заставить ихъ улыбнуться, но улыбка вышла жалкая такая, слезы чувствовались въ ней....

— „Прощайте,“ чуть слышно проговорилъ онъ.

Ту-гу-ту... затрубила труба. Монтрозъ уже сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, на самомъ верху дилижанса, кондукторъ строго обвелъ глазами толпу деревенскихъ дѣтей, которые стояли поодаль, восторженно глазѣя и на него самого и на его возницу.

— „Прочь съ дороги!“ крикнулъ онъ и махнулъ возжами — лошади рванули и весело помчались по мостовой.

— „Прощай, прощай!“ — еще разъ крикнулъ Монтрозъ, махая своею соломенною шляпой.

Отвѣтный голосокъ Ліонеля уже не могъ дойти до быстро удалявшагося Монтроза, такъ что онъ только приподнялъ свою шапочку въ отвѣтъ — жалкая улыбка, и та исчезла съ его блѣднаго личика, а на лбу какъ-то рѣзче обозначилась глубокая морщина. Онъ стоялъ неподвижно, и пристально смотрѣлъ вдаль. Когда же дилижансъ совсѣмъ скрылся изъ виду, онъ вздрогнулъ, точно очнулся отъ какого-то сна, и увидѣлъ у себя въ рукахъ книгу Гомера. Монтрозъ забылъ о ней. Нѣсколько деревенскихъ дѣтей стояли поодаль, они глядѣли на него, и онъ слышалъ, какъ они между собою что-то говорили „о маленькомъ баринѣ изъ большого дома“. И онъ на нихъ смотрѣлъ. Очень ему понравились два краснощекіе, круглолицые мальчика — онъ бы охотно заговорилъ съ ними, но онъ стѣснялся, инстинктивно чувствуя, что они могутъ недоброжелательно отнестись къ нему — и рѣшилъ, что лучше остаться одному и идти своей дорогой... Но не домой идти собирался онъ — о, нѣтъ! Не рѣшилъ ли онъ, что будетъ у него сегодня праздникъ — праздникъ настоящій, устроенный имъ самимъ!

Такъ какъ онъ зналъ, что древняя церковь Ком-мортина считалась однимъ изъ самыхъ достопримѣ-ательныхъ памятниковъ всего Девоншира, и такъ какъ, по воспитательной системѣ его отца и по его воззрѣ-ніямъ на вопросы религіозные, Ліонелю было воспре-щено посѣщать ее—понятно, что въ эту минуту онъ рѣшилъ направиться прямо къ ней. И слезы, которыя онъ съ такимъ трудомъ удерживалъ при Монтрозѣ, теперь тихо, одна за другою, катились по печальному его личику: теперь, съ тоской ду-малъ онъ, не будетъ больше веселаго катанья по бушующему морю, не будетъ длинныхъ прогулокъ по лѣсу съ цѣлью изученія ботаники, о которой ни-когда и рѣчи не бывало, не будетъ чтенія увлекатель-ныхъ балладъ подъ тѣнью чудныхъ деревьевъ—ни-чего, ничего этого не будетъ—будетъ одно внушитель-ное присутствіе профессора Кадмон-Гора, который стяжалъ себѣ репутацію неимовѣрной, подавляющей учености... Подъ гнетомъ этихъ мыслей, больно сжи-малось сердце бѣднаго мальчика; шелъ онъ медленно, грустно понутивъ голову. У деревянной калитки клад-бища, онъ остановился, тихо приподнялъ затворку и очутился среди могилъ всѣми забытыхъ усопшихъ.





Глава IV.

Тихо, какъ-то благоговѣнно ступаль Ліонель по обросшей мохомъ дорожке, по обѣимъ сторонамъ которой возвышались бугорками зеленыя могилки, и остановился передъ старымъ памятникомъ: на самомъ верху его сидѣла малиновка, мило чирикавая и перекликалась съ невидимой подругой. Птичка была не изъ пугливыхъ, она не только не попыталась улѣтѣть, но даже не встрепелась, когда подошелъ Ліонель. Памятникъ, на которомъ расположилась она, весь обросъ зеленью: крошечные листочки папоротника и клочки нѣжнаго моха какъ-то ухитрились пріютиться на голой плитѣ, частью окаймляя, частью покрывая почернѣвшую, полу-стертую надпись:

Здѣсь погребено бренное тѣло Симеона Яди.

Сѣдельный мастеръ въ Коммортинѣ

Онъ скончался въ радостной надеждѣ

Узрѣть дорогаго своего Господа-Христа.

17 іюня 1671 г. на 102 году.

„И жилъ Онъ въ домѣ одного Симона“ кожевника.

Съ величайшимъ трудомъ разбиралъ Ліонель эту надпись: ему пришлось отдѣльно складывать буквы, прежде нежели слово становилось понятно, и когда онъ окончательно разобралъ всю надпись, смыслъ ея все-таки остался для него неяснымъ. Онъ стоялъ въ раздумьи, удивляясь странному выбору текста, которымъ надпись заканчивалась, когда малиновка, съ испуганнымъ крикомъ, вдругъ вспорхнула и улетѣла, и передъ нимъ появилась, точно выходя прямо изъ подъ земли, красивая, сѣдая голова чело-вѣка, который съ любопытствомъ смотрѣлъ на него. Ліонель вздрогнулъ, попятился назадъ, но не испугался.

— „Не бойтесь, маленькій баринъ,“ сказала голова, „я только рою могилку для бабушки Твили.“

Голосъ, произнесшій эти слова, былъ чрезвычайно мягкій, даже мелодичный—такъ что минутное смущеніе Ліонеля мгновенно исчезло. Онъ съ любопытствомъ подошелъ ближе и увидѣлъ высокаго, широко-плечаго, необыкновенно красиваго мужчину, который стоялъ въ глубокой ямѣ—инстинктъ подсказалъ ему, что это и была могила.

— „Вы меня совсѣмъ не испугали“, сказалъ Ліонель, учтиво приподнимая свою шапочку. „Я вздрогнулъ только потому, что ваша голова появилась такъ неожиданно—я думалъ, что кромѣ малиновки и меня, никого здѣсь не было. Какую большую яму вы роете!“

— „Да,“ и человекъ ласково улыбнулся, ясною, тихою улыбкою.— „Старая Твили всегда любила просторъ! Царство ей небесное! Теперь, что ушла она отъ насъ, нѣтъ такого человека, кто бы могъ сказать о ней не доброе слово... не всегда-то такъ бываетъ и съ королями и съ королевами!“

— „Она умерла?“ тихо спросилъ Ліонель.

— „Да, если разумѣть жизнь земную, она умерла“, былъ отвѣтъ. „Но Боже! что такое земная жизнь! Ничего! *И духъ пройдетъ, и не будетъ, и не познаетъ мѣста своего...* Царство небесное, вотъ къ чему мы всѣ должны стремиться, маленькій баринъ, должны работать днемъ и ночью, чтобы удостоиться вѣнчи въ него.“

Не прерывая работы своей, онъ тихо запѣлъ густымъ мелодичнымъ баритономъ любимый свой гимнъ, въ которомъ воспѣвалась слава свѣтлыхъ ангеловъ небесныхъ.

Ліонель сѣлъ на сосѣдную зеленую могилку и пристально, какъ бы испытующимъ взглядомъ, смотрѣлъ на него.

— „Какъ можете вы вѣрить въ подобные пустяки?“ спросилъ онъ съ важной укоризной— „а еще взрослый мужчина!“

Тутъ могильщикъ прервалъ свою работу.... и, обернувшись, съ неописаннымъ изумленіемъ сталъ разсматривать маленькаго мальчика...

— „Какъ могу я вѣрить въ подобные пустяки,“ повторилъ онъ медленно. „*Пустяки!* И это крошечное созданіе *такъ* называетъ нашу несокрушимую вѣру, нашу неизблемую надежду на жизнь вѣчную! Помилуй, Господи, бѣднаго малютку! Кто же могъ *такъ* воспитать тебя?“

Ліонель страшно покраснѣлъ—покраснѣлъ до слезъ: такимъ одиночимъ онъ себя чувствовалъ, и такъ ему пріятно было говорить съ этимъ жизнерадостнымъ человѣкомъ, у котораго былъ такой нѣжный, мелодичный голосъ, а вотъ теперь—онъ оскорбилъ его...

— „Меня зовутъ Ліонель, Ліонель Вилискуртъ,“ сказалъ онъ тихимъ, немного дрожащимъ голосомъ. „Я единственный сынъ м-ра Вилискурта, который нанялъ на это лѣто вонъ тотъ большой домъ“—и онъ рукою указалъ на домъ, крыши котораго виднѣлись изъ-за деревьевъ,—„и у меня, съ тѣхъ поръ какъ минуло мнѣ 6 лѣтъ, всегда были очень умные воспитатели; теперь мнѣ скоро будетъ 11 лѣтъ. Они меня очень многому учили! И оттого я сказалъ, что будущая жизнь пустяки, что мнѣ такъ всегда было говорено. Очень было бы отрадно думать, что *это* правда—но это не правда—это только мечта, что-то въ родѣ легенды. Мой отецъ говоритъ, что въ наше время уже никто *этому* не вѣрить. Наукой доказано,

что когда тебя опускают въ такую могилу,“ и онъ указать на яму, въ которой стоялъ могильщикъ, слушая и внутренно изумляясь,—„ты умеръ навсегда—и никогда уже не узнаешь, для чего ты былъ созданъ,—по моему, это очень странно и очень, очень жестоко,—и черви съѣдятъ тебя. Ну, какъ же не пустяки думать, что можно жить послѣ того, какъ тебя съѣдятъ черви? Вотъ, почему я спросилъ у васъ, какъ можете вы вѣрить въ такіе пустяки... Пожалуйста, простите меня, право, я не хотѣлъ оскорбить васъ!“

Могильщикъ съ минуту помолчалъ. Его красивое лицо выражало попеременно и изумленіе, и печаль, и жалость, и негодованіе, но всѣ эти чувства точно потопила въ себѣ свѣтлая улыбка любви...

— „Оскорбилъ меня? Нѣтъ, ты бы не могъ этого сдѣлать, маленький баринъ, даже еслибы и захотѣлъ... Такъ-то, ты сынъ м-ра Велискурта. Ну, а я—Рубень Дейль, псаломщикъ этой церкви и пономарь, и землекопъ, и столяръ... всякую работу, посланную мнѣ Господомъ, я дѣлаю—только бы силъ хватило. Вотъ, видишь эти мои руки“—и онъ поднялъ одну сильную, мускулистую руку,—„онѣ хорошо до сихъ поръ служили—онѣ давали хлѣбъ и кровь, и одежду тѣмъ, кто дорогъ мнѣ, и, если Богъ дастъ, онѣ еще многіе годы мнѣ послужать, но я знаю,

что придетъ время, когда ихъ сложать на мнѣ... Ну, такъ что же—*тогда* онѣ уже не будутъ мнѣ нужны: я буду уже въ другомъ мірѣ, въ немъ буду жить и думать и, если угодно Господу, буду такъ же работать—потому что трудъ Господь благословилъ, и душа будетъ у меня *та же*, что теперь—только молю моего Господа до того времени очистить и освятить ее!..“

Онѣ поднялъ свои ясные голубые глаза къ голубому ясному небу и такъ оставался нѣсколько минутъ, какъ-бы въ созерцаніи чего-то...

— „М-ръ Дейль, *что* вы разумѣете—когда вы говорите о своей душѣ?“—робко спросилъ Ліонель.

— „Что я разумѣю, мой милый?“ сказалъ онѣ. „Я разумѣю то, что одно живо во мнѣ—ту живую искру небеснаго огня, которую Самъ Господь даровалъ каждому изъ насъ... Вотъ, что я разумѣю, и что ты будешь разумѣть, бѣдное дитя, когда подро-стешь и станешь вникать въ тайну милосердія Божьяго“.

— „А у вашего друга, у м-съ Твили“, какъ-то трепетно спросилъ Ліонель, „тоже было то, что вы называете—душа?“

— „О, да, была! и великая, и вѣрная, и чистая была эта душа!“

— „Но какъ можете вы это знать?“ настаивалъ Ліонель съ болѣзненнымъ любопытствомъ.

— „Милый мой—когда видишь бѣдную—бѣдную старушку, какъ она проживаетъ весь вѣкъ свой въ лишеніяхъ и въ трудахъ, какъ она безропотно и радостно переноситъ свою смиренную и тяжкую долю, и ласковая улыбка не сходитъ съ устъ ея, и сердце открыто малымъ дѣтямъ, и прощеніе готово всѣмъ заблуждающимся, и любовь готова для всѣхъ,—и она, оглядываясь назадъ на 80 лѣтъ своей жизни, говоритъ лишь одно: слава Богу за все!... можно быть увѣреннымъ, что что-то *высшее*, что-то *лучшее*, нежели жалкая тѣлесная ея оболочка, даетъ ей силу быть вѣрной себѣ, вѣрной друзьямъ своимъ, вѣрной Господу своему... такова была бабушка Твили... Тѣло ея было для нея одной тяготой—слабое, тучное, все искривленное ревматизмомъ—но душа—о! она была прямая, вѣрная! Въ Коммортинѣ всѣ такъ *знали* ея душу, что не помнили бѣдной оболочки, которая прикрывала ее—мнѣ кажется, что оболочки этой мы совсѣмъ даже не замѣчали! Наша плоть немощна, мой милый, и еслибы не душа наша, какъ бы намъ справляться съ ней?“

— „Этому я вѣрю“, сказалъ Ліонель, вздыхая, „не могу этому не вѣрить, хотя и не тому меня учили. Мое тѣло слабое, иногда оно все у меня болитъ. Но я думаю, м-ръ Дейль, что души, такія души, какъ тѣ, о которыхъ вы сейчасъ говорили, должны быть исклю-

ченіемъ — какъ, напрімѣръ, и голубые глаза — вѣдь, не у всѣхъ же глаза голубые — не у всѣхъ, можетъ быть, и душа бываетъ. Мой отецъ очень бы разсердился, если бы ему сказать, что у него есть душа — и я знаю, онъ никогда не дозволить мнѣ имѣть душу, даже еслибы я самъ сѣумѣлъ какъ нибудь ее вырастить...”

Рубень стоялъ, какъ ошеломленный, и глядѣлъ на грустное, дѣтское личико маленькаго мальчика съ невыразимымъ удивленіемъ... Самъ онъ былъ человѣкъ простой, богобоязненный, провелъ онъ всю свою жизнь въ Коммортинѣ, работалъ неустанно изъ-за хлѣба насущнаго, и, совершенно довольный своей долею, не интересовался тѣмъ, что творилось въ большихъ городахъ. Потому онъ ничего и не слыхалъ о тѣхъ странныхъ, нелѣпыхъ преніяхъ, которыя ведутся въ тѣхъ большихъ центрахъ, переполненныхъ всякимъ народомъ, гдѣ разные безумцы, отвергая все, что свято, сѣются отнять Бога у бѣднаго человѣчества, гдѣ печать сама проповѣдуетъ богохульство и безбожіе, и усердно способствуетъ распространенію въ народныхъ массахъ книгъ такого гнуснаго содержанія, что самому Раблэ претило бы отъ нихъ. Ему, конечно, на умъ не приходило, что могутъ существовать такіа правитель-ства, которыя покровительствуютъ воспитанію дѣтей *въ* всякой религіи. Онъ слыхалъ о Франціи, но ему не было извѣстно, что Франція изгнала религію изъ

всѣхъ своихъ школъ, что быстро превращается она въ какой-то питомникъ, выращающій дѣтей—воровъ, убійцъ, негодяевъ... Онъ вѣрилъ въ Англію, какъ онъ вѣрилъ въ Бога—той крѣпкой, беззавѣтной вѣрой въ родину, въ которой кроется вся сила народовъ, и онъ былъ бы потрясенъ до глубины своей честной, истинно религіозной души, еслибы ему сказали, что его возлюбленная Англія, влекомая на путь гибели именно тѣми, кто былъ призванъ охранять ее—принимаетъ отъ Франціи ея ученія объ атеизмѣ, символизмѣ и свободной нравственности. Итакъ, малый ребенокъ, сидѣвшій передъ нимъ, казался ему теперь сверхъестественнымъ явленіемъ... Маленькое, блѣдное личико, обрамленное, точно сіяніемъ, свѣтлыми кудрями, походило на ликъ ангела—но старческій видъ, плавная, степенная рѣчь, удивительныя сужденія этого маленькаго созданія—вотъ *это* производило на доброго Рубена впечатлѣніе, отъ котораго ему становилось жутко... Онъ провелъ нѣсколько разъ рукой по бородѣ, недоумѣвая, какъ продолжать этотъ странный разговоръ—что могъ онъ сказать о способѣ, потребномъ для „выростанія“ души?... Къ счастью, эти головоломныя размышленія были прерваны внезапнымъ появленіемъ крошечной дѣвочки. Ея хорошенькое личико, окаймленное цѣлою массою спутанныхъ темныхъ кудрей, выглядывало, какъ розовенькій цвѣ-

точекъ, изъ-подъ огромной бѣлой шляпы, и все въ ней было такъ мило, такъ прелестно, что Ліонелю показалось, что передъ нимъ предстала сама Елена изъ Трои! Ему никогда не позволяли читать волшебныя сказки, такъ что онъ никакого не имѣлъ представленія о мірѣ волшебномъ, и потому въ немъ не могъ искать сравненій, что было бы естественнѣе—но онъ уже не мало сдѣлалъ переводовъ изъ произведеній Гомера и зналъ, что въ Иліадѣ всѣ герои перессорились между собою изъ-за Елены Троянской, и что она была чудной красоты. Такъ что онъ тутъ же рѣшилъ, что Елена Троянская, когда она была маленькая дѣвочка, была точь-въ-точь такая, какъ очаровательная маленькая особа, которая въ эту минуту шла въ направленіи къ нему черезъ зеленныя могилки—и казалось, что она вовсе не касалась ихъ, что ее, какъ цвѣточекъ, подхватилъ лѣтній вѣтерокъ и гналъ передъ собой...

—„Вотъ и моя крошка!“ воскликнулъ Дейль, бросая въ сторону свою лопату. „Ну, что мой цвѣтикъ, принесла угощеніе старику отцу?“

На этотъ вопросъ дѣвочка улыбулась, и отъ улыбки этой произошло такое сіяніе подъ большой бѣлой шляпой, что можно было подумать, что нечаянно солнце заронило въ нее свой лучъ! Затѣмъ дѣвочка какъ-то особенно многозначительно раскрыла

и закрыла свой маленькій ротикъ, желая этимъ пояснить, что она принесла что-то очень вкусное и, раскрывъ свою корзиночку, вынула изъ нея—кувшинъ съ горячимъ ароматичнымъ кофеемъ, горшокъ густыхъ сливокъ и два большихъ ломтя домашнего хлѣба.

—„Хорошо папа?“ спросила она, располагая, все это на краю могилы.

—„Хорошо, моя пташка“, отвѣтилъ Рубенъ, высоко поднимая ее на воздухъ и звонко цѣлуя въ обѣ щеки, прежде нежели поставить опять на землю. „Смотри, Жесмина, видишь, вонъ тамъ сидитъ маленькій баринъ, будь умница, подойди къ нему, скажи: здравствуйте“.

Это порученіе Жесмина исполнила въ точности. Она подошла къ тому мѣсту, гдѣ сидѣлъ Ліонель, съ восхищеніемъ слѣдившій за нею, протянула свою пухленькую крошечную ручку и сказала:

—„Здравствуй“!

Прежде нежели Ліонель успѣлъ опомниться, она встряхнувъ кудрями, исчезла! Мальчикъ вскочилъ озадаченный и огорченный. Рубенъ засмѣялся.

—„Скорѣй за ней, молодецъ! Ну, бѣгомъ! Она всегда такъ на первый разъ—настоящій котенокъ, любить позабавиться! Вонъ она, вонъ тамъ за угломъ!...“

И Лїонель побѣждалъ... дѣйствительно побѣждалъ, что рѣдко съ нимъ случалось — онъ чувствовалъ себя почти героемъ, такимъ какъ взрослые люди въ Иліадѣ!

Его Елена Троянская спряталась за уголъ, и онъ отважно рѣшилъ, что найдетъ ее! Послѣ долгихъ поисковъ и затѣмъ долгихъ преслѣдованій большой бѣлой шляпы вокругъ деревьевъ, вокругъ могилъ, когда онъ, совсѣмъ запыхавшись, почти выбился изъ силъ, она, какъ свойственно женщинѣ, дала себя поймать и робко взглянула на своего молодого побѣдителя.

— „Ты откуда?“ спросила она, какъ-то кокетливо подергивая зубками длинную завязку своей шляпы — „ты хорошенькій — здѣшніе мальчики всѣ уроды!“

Какъ мило она это сказала, и какъ прелестно складывались ея розовенькія губки, когда она говорила, точно просились онѣ на поцѣлуй! Лїонель подумалъ, что хотѣлъ бы поцѣловать ее, и — при этой мысли, страшно покраснѣлъ. Однако, Елена Троянская продолжала разсматривать его.

— „Хочешь яблоко?“ спросила она, вытаскивая изъ своего маленькаго кармана совсѣмъ румяное яблочко. „Я тебѣ его дамъ, если прежде дашь мнѣ откусить красный кусочекъ!“

Она шаловливо прищурила свои темно-синіе глазки и улыбнулась такой вкрадчивой улыбкой, пред-

лагая откусить „красный кусочек“, что Ліонель совсѣмъ потерялъ голову и забылъ все кромѣ одного— самого простого, что онъ маленькій мальчикъ, а она маленькая дѣвочка. Онъ засмѣялся, ему не обычнымъ, веселымъ, дѣтскимъ смѣхомъ, и взявъ у нея изъ рукъ яблоко, поднесъ его къ ея ротику—она осторожно всадила свои острые, крошечные зубки прямо въ „красный кусочекъ“ и откусила его.

— „А остальное—мнѣ?“ спросилъ Ліонель, робко дотрогиваясь до ея ручки, чтобы помочь ей черезъ широкую, полу-развалившуюся могильную плиту, на которой едва виднѣлась надпись: „Марфа Думфи 97 лѣтъ.“ Давно, давно жила Марфа Думфи, давно, давно она умерла, но думается, что еслибы очнулась она въ эту минуту, ей не было бы обидно, что эти милыя малютки такъ весело пробѣгали надъ мѣстомъ ея послѣдняго упокоенія.

— „Да, ты можешь взять остальное“ снисходительно отвѣтила Жесмина, и съ лукавой улыбкой прибавила: „а у меня въ карманѣ есть еще!“

Какъ они расхохотались!!!! Не думая о бѣдной Марѣ Думфи, они усѣлись на траву, которая прикрывала старыя ея кости, и весело принялись за дѣло! Кушать сочныя яблоки, снятыя прямо съ дерева, показалось Ліонелю такимъ наслажденіемъ, и Жесмина на столько стало любезна, что великодушно уступила ему „красный кусочекъ“ второго яблока!

— „Теперь пойдѣмъ въ церковь“, сказала Жесмина, „папа оставилъ дверь не запертою, пойдѣмъ, посмотримъ большія, бѣлыя лиліи, которыя стоятъ на святомъ престолѣ.“

Ліонель глядѣлъ на ея серьезное личико, и стало ему какъ-то неловко... Онъ, конечно, понималъ, что она сказала:— на ряду съ исторіею другихъ народныхъ вѣрованій, онъ изучилъ и исторію міеа христіанскаго. Для ясности и послѣдовательности обученія, для него былъ составленъ особый конспектъ, по которому исторія вѣрованій раздѣлялась на 12 группъ.

1. Фта и Египетская міеологія.
2. Брама, Вишну и Индусскіе міеы.
3. Халдейскія и Финикійскія вѣрованія.
4. Греческіе и Римскіе боги.
5. Будда и Буддизмъ.
6. Конфуцій и Китайскія секты.
7. Мексиканская міеологія.
8. Одинъ и Скандинавскія вѣрованія.
9. Магометанство и Коранъ.
10. Талмудъ и Еврейскія преданія.
11. Христось и постепенное развитіе христіанскаго міеа на обломкахъ Греческаго и Римскаго язычества.
12. Позитивизимъ и чистый разумъ, съ доказательствами, что всѣ эти вѣрованія никакихъ положитель-

ныхъ основъ не имѣютъ, а только тормозятъ ходъ интеллектуальнаго развитія человѣчества. —

Вышеозначенному конспекту было отведено самое первое мѣсто въ учебно-воспитательныхъ занятіяхъ Ліонеля. Ему тщательно изъясняли, что въ наше время лишь одно грубое невѣжество еще вѣрить въ Божественное Начало, что люди интеллигентные давно пришли къ заключенію, что нѣтъ Бога, что „первая причина“ есть Атомъ, порождающій другіе атомы, которые, вращаясь непрестанно, безсознательно, безъ мышленія, одной силой матеріи создаютъ міръ, что въ Божество социалиста-плотника Иисуса, который, по ученію христіанскаго міѳа, своей жизнію и смертію указалъ вѣрующимъ путь въ Царство Небесное, могутъ вѣрить люди совсѣмъ простые, слабоумные. Однако, Ліонель хорошо зналъ, что умный, образованный, его милый Вилли Монтрозъ беззавѣтно вѣрилъ въ святость этого „миѳа“, и вотъ теперь милая Жесмина сказала ему: „пойдемъ въ церковь“, и, какъ у тихой голубки, засвѣтились ея глазки, когда она это говорила...

— „Пойдемъ“, повторила она, „въ церкви будетъ прохладно, мы сядемъ на каеэдру и ты мнѣ расскажешь что-нибудь про ангеловъ. Вѣдь, ты знаешь, каждую ночь Божіи ангелы съ неба къ намъ слетаютъ. А ты своего ангела-хранителя видѣлъ?“

Трепетно забилося сердце у одинокаго мальчика. Какъ бы хотѣлось ему вѣрить въ близость небеснаго хранителя, но онъ не могъ, это было слишкомъ нелѣпо — и не могъ онъ также объяснить Жесминѣ, что онъ въ ангеловъ не вѣритъ, когда она сама на ангела походила... такъ что на ея вопросъ онъ коротко отвѣтилъ:

— „Нѣтъ.“

— „А я думала, что ты ихъ видѣлъ“, сказала она, „вѣдь, ты мальчикъ не дурной?“

— „Можетъ быть, и дурной“, съ грустной улыбкой сказалъ онъ, „и оттого ангелы ко мнѣ не прилетаютъ“.

— „Моя мама теперь ангелъ“, продолжала Жесмина. „Видишь, она не могла долго жить далеко отъ Бога и однажды ночью вдругъ улетѣла къ Нему. Папа говоритъ, что теперь она часто на минутку слетаетъ къ намъ, поцѣлуетъ его, меня поцѣлуетъ, взмахнетъ своими большими бѣлыми крыльями и улетитъ назадъ.“

— „Значить, она умерла?“ спросилъ Ліонель.

— „Да нѣтъ“, спокойно отвѣтила Жесмина, „вѣдь, я говорю тебѣ, что она ангелъ.“

— „А ты видѣла ее, съ тѣхъ поръ какъ она стала ангеломъ?“ спросилъ Ліонель.

— „Нѣтъ“, грустно вздыхая, отвѣтила она, „я слишкомъ еще мала и часто бываю дурная... но я ее, навѣрно, еще увижу.“

Ліонель ничего не нашелъ на это отвѣтить, и минуто спустя они вмѣстѣ входили въ церковь.

Какъ только пріотворили они тяжелую дубовую дверь, которая тихо тотчасъ за ними закрылась, на нихъ повѣяло прохладою и пахнуло ароматомъ благоухающихъ лилій. Они остановились посреди церкви, держа другъ друга за руку, и благоговѣнно, молча глядѣли — то на фантастическіе узоры, которые солнечный лучъ, проходя сквозь разноцвѣтныя стекла оконъ, рисовалъ по каменному полу — то на высокія бѣлоснѣжныя лиліи въ золотыхъ вазахъ по обѣимъ сторонамъ алтаря, — которыя въ величинѣ чистой красоты своей точно таинственно напоминали слова Спасителя: „Блаженны чистые сердцемъ, яко тѣи Бога узрятъ“. Древніе своды, съ ихъ затѣйливой рѣзбой изъ темнаго дуба, умѣряли дневной свѣтъ — таинственный полумракъ и та особая тишина, которая присуща мѣсту, освященному молитвами, производили на Ліонеля впечатлѣніе неизъяснимо сладостное, ему незнакомое...

Жестина крѣпко сжала ему руку.

— „Пойдемъ,“ шопотомъ проговорила она, „тамъ на кааедрѣ, большая, большая Библия, я тебѣ покажу картинку“, и она широко раскрыла свои глазки, „мою картинку, мою самую, самую дорогую картинку!“

Лионелю было интересно видѣть это сокровище, и, слѣдуя за ней по узкой лѣсенкѣ, которая вела на кафедру, онъ про себя думалъ, что дѣйствительно много неожиданнаго, нежданнаго случилось съ нимъ въ этотъ его праздникъ!

Видно, для маленькой Жесмины забираться на церковную кафедру — было дѣломъ привычнымъ: она тотчасъ отыскала большую Библію, съ великимъ трудомъ и стараніемъ стащила ее съ того мѣста, гдѣ она лежала, и благоговѣнно положила на полъ на бархатную подушку. Затѣмъ сама усѣлась на полу и, внимательно переворачивая страницы, сказала Лионелю стать на колѣни и смотрѣть вмѣстѣ съ ней.

— „Вотъ она!“ съ трепетнымъ восторгомъ шепнула Жесмина. „Смотри! Видишь этого хорошенькаго Мальчика?—а, вѣдь, ты на Него немножко похожъ—правда? Ну, видишь, а вонъ тутъ эти противные старики—вотъ они всѣ думаютъ, что они очень, очень умные! И хорошенькій Мальчикъ имъ говорить, какіе они всѣ глупые, что они ничего не смыслятъ въ своихъ книгахъ, и что Богъ мудрѣ ихъ, и милосердый и добрый... И они, видишь, сердятся; и имъ такъ удивительно, что Онъ съ ними *такъ* говоритъ, когда Онъ только маленькій мальчикъ. А Онъ-то знаетъ все, что эти дурные, злые люди знать не могутъ—и это оттого, что Онъ маленький—Исусъ....“

Картинка изображала Христа передъ законниками во храмѣ—и Ліонель смотрѣлъ на нее съ какимъ-то страстнымъ вниманіемъ... Только мальчикъ, и могъ уже учить мудрецовъ! „Хотя“, подумалъ Ліонель съ привычнымъ ему безотраднымъ сомнѣніемъ, „быть можетъ, мудрости у нихъ не было вовсе, и оттого Ему учить ихъ было легко.“

Жесмина, налюбовавшись вдоволь своею милою картинкою, закрыла книгу, благоговѣйно положила ее на мѣсто и усѣлась рядомъ съ своимъ маленькимъ собесѣдникомъ на верхней ступенькѣ каедръ.

— „Какъ тебя зовутъ?“ спросила она.

— „Ліонель“, отвѣтилъ онъ.

„Ліонель, какъ странно—что такое Ліонель—цвѣтокъ?“

— „Нѣтъ, твое имя—цвѣтокъ.“

— „Да, нашъ кустъ жасмина зацвѣлъ въ то самое утро, когда я родилась—оттого меня и назвали—Жесминой. Мое имя мнѣ нравится больше, нежели твое.“

— „И мнѣ тоже,“ улыбаясь сказалъ Ліонель.— „Мама зоветъ меня—Лиля.“

— „Это мнѣ нравится. Это мило—и я буду такъ звать тебя—Лиля,“ объявила Жесмина и, ласково обвивъ своею ручкою его шею, сказала: „будь добрый мальчикъ, Лиля, теперь Расскажи мнѣ сказку!“



Глава V.

Лионель въ смущеніи смотрѣлъ на нее—что могъ онъ разсказать ей? Онъ ничего не зналъ такого, что могло бы занять маленькую дѣвочку... Какъ хорошо было ему чувствовать вокругъ своей шеи ея тепленькую, маленькую ручку, чувствовать близость ея милаго личика—а глаза ея—какіе они были чудные! Никогда еще онъ такихъ глазъ не видѣлъ—даже глаза его матери не были такой чудной красоты! Ясные, лучезарные, глазки Жесмины свѣтились тѣмъ безмятежнымъ, тихимъ свѣтомъ, который свѣтится лишь въ невинномъ взорѣ малыхъ дѣтей, трогая нашу душу до умиленія... Иные, но весьма не многіе, цвѣты, своею чистой, нѣжной красой напоминаютъ этотъ именно взглядъ ребенка: задумчивые анютины глазки, нѣжно-голубые колокольчи-

ки, милыя, улыбающіяся незабудки — они глядятъ на насъ такъ же довѣрчиво и просто — и въ глазахъ Жесмины было какъ бы напоминаніе ихъ красоты... еще разъ Ліонель вспомнилъ Елену Троянскую.

— „Что-же, не будешь рассказывать?“ терпѣливо подождавъ съ минуту, сказала она. „Какая это у тебя книга?“ И она своимъ розовенькимъ пальчикомъ дотронулась до книги, которую держалъ Ліонель.

— „Это Гомеръ“, отвѣтилъ Ліонель, „мой воспитатель уѣхалъ сегодня съ утреннимъ дилижансомъ и эту книгу забыть — теперь мнѣ надо ее послать ему по почтѣ.“

— „Конечно, послать надо“, — одобрительно подтвердила Жесмина. „А что такое Гомеръ?“

— „Онъ былъ великій поэтъ, самый древній изъ всѣхъ поэтовъ; насколько извѣстно, онъ былъ родомъ изъ Греціи,“ пояснялъ Ліонель, „и жилъ очень, очень давно. Въ этой книгѣ онъ рассказываетъ исторію Троянской войны — это эпическая поэма.“

— „Что такое эпическая поэма?“ спросила Жесмина, „и что такое Троянская война?“

Ліонель чуть слышно засмѣялся.

— „Ты бы не поняла, милая, еслибы я и объяснилъ тебѣ“, покровительственно сказалъ онъ, — онъ чувствовалъ себя совсѣмъ взрослымъ передъ этой

наивной малюткой! „Гомеръ писалъ стихи—ты знаешь-ли, что такое стихи?“

— „Конечно, знаю“, сказала она, наклонивъ свою головку къ нему на плечо. „Я много стиховъ выучила, вотъ я тебѣ скажу:

„Къ Себѣ дѣтей Ты кротко звалъ—
Смотри, какъ бѣденъ я и малъ!
Склонись, Христосъ, къ моей мольбѣ—
Христосъ, прими меня къ Себѣ!“

И она взглянула на него съ одной изъ своихъ, радужныхъ улыбокъ.

„Хорошо я сказала?“ спросила она.

— „Очень хорошо“, задумчиво промолвилъ Ліонель, съ грустью вспоминая, что его отецъ называлъ „дикарями“ тѣхъ, кто вѣровалъ во Христа...

„Ну, такъ расскажи мнѣ про этого Гомера и про Троянскія войны“, сказала она, какъ котенокъ, ласково прижимаясь къ нему. „Это будетъ про ангеловъ?“

— „Нѣтъ,“ отвѣтилъ Ліонель, „это все про героевъ-богатырей—и всѣ они дрались между собою изъ-за одной принцессы, которую звали Еленою, и которая была удивительной красоты.“

— „Зачѣмъ же она позволяла имъ драться?“ съ серьезнымъ видомъ спросила Жесмина, „она была не

добрая, если не жалѣла бѣдныхъ богатырей: ей бы надо было ихъ всѣхъ помирить.“

— „Но они не могли“, сказалъ Ліонель — „понимаешь, они сами этого не хотѣли.“

— „Странные же они были, эти богатыри“, проговорила Жесмина — „Гдѣ они всѣ теперь?“

— „О! они давно, давно всѣ умерли“, засмѣялся мальчикъ — „а иные утверждаютъ, что они даже никогда и не жили!“

— „О! такъ это сказки, какъ „Котъ въ сапогахъ“, сказала Жесмина — „и твоя книжка — волшебная книжка, какъ моя. „Только „Котъ въ сапогахъ“ гораздо интереснѣ твоихъ Троянскихъ войнъ! А ты знаешь мою волшебную книжку?“

Ліонель никогда не видалъ того, что Жесмина называла „волшебной книгой“: отецъ его былъ мнѣнія одного изъ инспекторовъ школъ въ Англіи, г-на Гольмана, который въ своемъ циркулярѣ напечаталъ, что „волшебныя сказки имѣютъ пагубное вліяніе на развитіе, какъ нравственное, такъ и умственное, такъ какъ заключаютъ въ себѣ противорѣчіе тому, что дознано наукою и опытомъ.“ И такъ на вопросъ Жесмины Ліонель могъ дать лишь отрицательный отвѣтъ.

— „Ну, такъ я тебѣ расскажу что нибудь изъ моей книжки,“ сказала она.

Серьезно и задумчиво устремивъ вдаль свои глаза, точно *тамъ* вставало передъ ней нѣкое видѣніе, она ровнымъ голосомъ начала:

— „Была разъ маленькая дѣвочка, и былъ маленькій мальчикъ—не старше насъ съ тобой, они были хорошенькіе и добрые, и былъ у нихъ старый дядя, злой-презлой. Онъ ихъ терпѣть не могъ, потому что они были хорошіе, а онъ былъ дурной—и вотъ въ одинъ прекрасный день онъ повелъ ихъ въ большой, дремучій лѣсъ, куда и солнышко заглянуть не могло, и тамъ ихъ оставилъ. Когда они остались одни—они походили, походили, и увидѣли, что больше не выйти имъ изъ дремучаго лѣса... они очень устали, и кушать имъ очень захотѣлось—ну, и они обняли другъ друга—вотъ такъ“, и Жесмина ближе прижалась къ нему—„помолились Богу и легли и—тутъ же, оба умерли, и Господь взялъ ихъ прямо на небо къ Себѣ. И тогда всѣ малиновки въ лѣсу такъ были огорчены! Онѣ прилетѣли къ нимъ и покрыли ихъ красивыми, зелеными и красными листьями—это Господь велѣлъ малиновкамъ такъ похоронить ихъ, потому что они были хорошіе, а дядя ихъ былъ дурной—малиновки сдѣлали такъ, какъ сказалъ имъ Господь.“

Къ концу разсказа ея голосокъ все больше и больше затихалъ, и она уже чуть слышно спросила, глядя на него изъ-подъ отяжелѣвшихъ вѣкъ.

— „Хорошая моя сказка?“

— „Очень хорошая“, отвѣтилъ Ліонель — въ эту минуту насколько онъ себя чувствовалъ старше ея! И бессознательно онъ обнялъ ее крѣпче, точно желалъ отъ чего-то уберечь...

— „Я думаю“, невнятно проговорила она — „это твои глупыя Троянскія войны меня усыпили...“

По полу-раскрытому ея ротику и тихому, мѣрному дыханію видно было, что она тутъ же заснула. Ліонель сидѣлъ не шевелясь, бережно поддерживая ее своей рукой и задумчиво озираясь. Прямо передъ нимъ виднѣлся иконостасъ, на которомъ были изображены лики двѣнадцати апостоловъ: онъ смотрѣлъ на нихъ какимъ-то испытующимъ взглядомъ. Конечно, онъ зналъ ихъ исторію — зналъ, что всѣ они были простые рыбаки съ береговъ Галилейскаго озера, что ихъ призвалъ Иисусъ, сынъ Іосифа плотника, и что они слѣдовали за Нимъ всюду, когда Онъ проповѣдывалъ новое, странное ученіе Любви, которое казалось безуміемъ для міра, погрязшаго въ злобѣ и во лжи. Они были люди бѣдные, самые обыкновенные, не было между ними ни царей, ни полководцевъ, ни героевъ, и не отличались они ни знатностью, ни ученостью, и однако въ исторіи человечества они имѣютъ значеніе, какого не имѣли и самые великіе цари! Какъ было это странно, очень,

очень странно — думалъ Ліонель — но всего изумительнѣе, что простой человѣкъ, сынъ плотника, могъ заставить увѣровать въ Себя, какъ въ Бога, и что вѣра въ Него стоитъ незыблемая всѣ эти тысячу восемьсотъ лѣтъ! Что же сдѣлалъ Онъ? Ничего — кромѣ добра. Чему училъ онъ? Только самоотверженію и любви. — Всѣ воспитатели Ліонеля, которые, каждый по своему, вытчивали его дѣтскій умъ, сходились въ томъ, что признавали въ Иисусѣ Назарянинѣ высокій образъ мудрости, чистоты и доброты. Обо всѣхъ самыхъ великихъ философахъ, мыслителяхъ, ученыхъ — даже о Сократѣ и о Платонѣ, найдется что сказать — въ порицаніе и обличеніе. О Христѣ — сказать нечего... подобнаго Ему никогда никого не было. Ліонель вздохнулъ — и глаза его съ любовью остановились на высокихъ бѣлыхъ лиліяхъ — эти чистыя чаши благоуханія, каждая на высокомъ, зеленомъ стеблѣ своемъ, точно приносили безмолвную жертву Создателю ихъ красоты... „Посмотрите на лиліи полевые, какъ онѣ растутъ: не трудятся, не прядутъ; но Я говорю вамъ, что и Соломонъ во всей славѣ своей не одѣвался такъ, какъ всякая изъ нихъ...“

Ліонель ближе прижалъ къ себѣ маленькую спящую Жесмину... въ эту минуту душа его такъ просила любви и мира... Солнце свѣтило прямо на

обоихъ дѣтей золотистымъ ровнымъ свѣтомъ, и казалось, что золотистые его лучи суть проводники любви Христовой къ малымъ и безпомощнымъ, что они безъ словъ вѣщаютъ слово святое: „Пустите дѣтей приходите ко Мнѣ, и не возбраняйте имъ; ибо таковыхъ есть царствіе Божіе.“

Мальчикъ глубоко задумался, и его стало немного клонить ко сну, когда входная дверь тихо пріотворилась, и въ церковь вошелъ Рубенъ Дейль: съ нимъ былъ другой человѣкъ помоложе и направился прямо къ хорамъ, гдѣ помѣщался органъ. Рубенъ, снявъ благоговѣйно шляпу, — искалъ глазами свою дѣвочку. Ліонель, увидѣвъ его, знакомъ далъ ему понять, что Жесмина уснула — и онъ, любуясь милой картиной, на цыпочкахъ подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ дѣти сидѣли обнявшись, — „точно двѣ милыя пташки“, — думалъ онъ про себя, и блѣдный, блѣдный мальчикъ на этотъ разъ казался почти радостнымъ.

Въ эту самую минуту волна звуковъ заколебала воздухъ... подъ умѣлыми пальцами органиста гармонія выросла и развивалась, и сложная мелодія Баховской фуги выступала съ особенной красотой подъ аккомпаниментъстройныхъ аккордовъ глубокого органа. Ліонель вздрогнулъ — Жесмина проснулась. Потирая глаза своими пухленькими кулачками, она зѣвнула, прищурилась и, завидѣвъ отца, улыбнулась сіяющей улыбкой.

— „Мы были малютки въ лѣсу,“ мило поясняла она — „и мы ждали, чтобы малиновки прилетѣли прикрыть насъ, но, видно, онѣ не могли листочки пронести сквозь эти закрытыя окна!“

— „Да, было бы трудно,“ добродушно улыбаясь, сказалъ Рубенъ — „однако, маленькая проказница, сойди-ка съ каеэдры, время обѣдать, надо идти домой.“

Жесмина вскочила и быстро сбѣжала съ лѣсенки — Ліонель слѣдовалъ за нею.

— „Пойдемъ съ нами,“ ласково сказала она — „папа, развѣ онъ не идетъ? Онъ такой милый мальчикъ?“

— „Ежели онъ придетъ, мы, конечно, будемъ ему рады,“ отвѣтилъ Рубенъ, „но онъ маленькій баринъ, у него есть свой отецъ, своя мать, которые теперь, быть можетъ, ждутъ его.“

Ліонель стоялъ молча, опустивъ голову: они шли *домой*, этотъ добродушный пономарь со своею милой дѣвочкой... Какимъ одинокимъ онъ снова себя почувствовалъ — какимъ холодомъ повѣяло на него... а чудные звуки все лились съ вышины и будили въ немъ странныя, дотолѣ ему невѣдомыя чувства. Ему хотѣлось остаться одному въ церкви, стараться понять, что таили въ себѣ эти звуки, что безъ словъ говорили.... не казалось-ли, что слышится пѣніе ангеловъ — но ангеловъ, вѣдь, нѣтъ! не казалось-ли, что

отверзаются врата Царствія Небеснаго—но Царствія Небеснаго—нѣтъ!.. Въ этихъ дивныхъ звукахъ не слышался-ли голосъ Самого Бога—но онъ зналъ, что Бога нѣтъ.... Онъ тяжело вздохнулъ... двѣ крупныя слезы скатились у него съ глазъ, капая на его шерстяную курточку. Въ одну минуту ручки Жесмины обняли его.

— „Ахъ, милый, милый, не плачь!“ шептала она ему нѣжно на ухо—„не плачь—мы вмѣстѣ пойдемъ къ папѣ, онъ съ тобою будетъ такой добрый, а послѣ обѣда я тебѣ покажу мою дорогую старую лошадку!“

Невольно Ліонель улыбнулся, но губы его еще нервно дрожали. Бѣдный ребенокъ! онъ едва ли самъ понималъ причину своего волненія—отчего его сердце болѣзненно сжалось и вдругъ хлынули слезы, отчего ему почувствовалось, что страшно жить въ этомъ холодномъ, безжалостномъ мірѣ—но все же Жесминѣ—онъ былъ благодаренъ... Рубенъ Дейль внимательно всматривался въ него.

— „Хочешь ли въ самомъ дѣлѣ придти къ намъ и отобѣдать съ нами?“ спросилъ онъ, „мы люди простые, все у насъ бѣдно и не затѣйливо, но если безгatzь не будешь, милости просимъ!“

— „Я очень благодаренъ вамъ, мнѣ очень хочется къ вамъ. Видите-ли, сегодня я совсѣмъ одинъ—мой бывшій воспитатель уѣхалъ сегодня утромъ—а воспи-

татель, который долженъ замѣнить его, пріѣдетъ только вечеромъ—въ настоящее время мнѣ дѣлать нечего: уроковъ у меня пока нѣтъ—и совершенно все равно, здѣсь ли я, или дома. Я самъ себѣ сдѣлалъ праздникъ сегодня,” тутъ онъ посмотрѣлъ прямо въ глаза Рубену Дейлю,—„и я хочу, чтобы вы знали, м-ръ Дейль, что я это сдѣлалъ безъ вѣдома и безъ позволенія моего отца. Я такъ усталъ отъ книгъ! Такъ мнѣ хотѣлось на свѣжій воздухъ!.. Конечно, послѣ того, что вы сейчасъ узнали, вы, быть можетъ, уже не захотите принять меня у себя—тогда я проведу свой день въ лѣсу, или же одинъ посижу въ церкви. Мнѣ бы хотѣлось подольше побыть въ церкви...”

— „Уже усталъ отъ книгъ!” участливо сказалъ добрый Рубень. „Ты еще такъ молодъ, что, по моему, книги отъ тебя не уйдутъ! Чѣмъ ходить тебѣ одному въ лѣсъ, лучше пойдемъ-ка со мной и Жесминой—только смотри, отцу скажи, гдѣ и у кого ты былъ—это непремѣнное условіе!”

— „Конечно, я ему скажу”, твердо отвѣтилъ Люнель. „Я всегда ему все говорю, какъ бы онъ ни былъ недоволенъ. Какъ-то выходитъ, что онъ всегда на меня сердится, что бы я ни дѣлалъ—но это оттого, что онъ мнѣ добра желаетъ.—Онъ человѣкъ хорошій и ничего дурного въ своей жизни не сдѣлалъ”.

— „Ну, въ такомъ случаѣ онъ единственный въ своемъ родѣ!“ сухо замѣтилъ Рубенъ — „пойдемъ, маленькій баринъ, я покажу тебѣ нашу церковь, никто не знаетъ ся лучше меня.“

Шли они въ благоговѣйномъ молчаніи, только Рубенъ въ полъ-голоса пояснилъ то, что требовало поясненія, когда онъ останавливалъ вниманіе Ліонеля на разныхъ достопримѣчательностяхъ древняго храма.

— „Что же, нравится тебѣ наша церковь, маленький баринъ?“ спросилъ онъ, когда они окончили обходъ свой.

— „Очень нравится“, отвѣтилъ мальчикъ — „но больше всего нравится мнѣ музыка — послушайте — что это теперь?“ и онъ поднялъ вверхъ свое блѣдное, взволнованное личико.

— „Это гимнъ, который мы всегда поемъ на благодарственныхъ богослуженіяхъ: Господи, въ святыхъ Твоихъ селеніяхъ услыши наши голоса!“ отвѣтилъ Рубенъ „это дивное пѣснопѣніе — и голосъ и сердце участвуютъ въ немъ, когда поется оно! Однако, мнѣ, милые, давно пора домой, обѣдать.“

Они вышли изъ церкви. Теперь въ полуденный часъ, солнышко сильнѣе грѣло, цвѣты сильнѣе пахли и пчелки въ томномъ воздухѣ неустанно жужжали. Пройдя кладбище, они перешли черезъ большую проѣзжую дорогу и стали подниматься по узкой улицѣ, по

обѣимъ сторонамъ которой стояли оригинальные, старинные домики, какъ-то странно наклонившись другъ на друга. Одинъ изъ этихъ домиковъ стоялъ немного поодаль, посреди маленькаго садика, переполненнаго кустами жасмина: тутъ Рубень остановился и постучалъ въ дверь. Дверь тотчасъ отперла женщина среднихъ лѣтъ, въ огромномъ бѣломъ передникѣ. Она съ величайшимъ удивленіемъ смотрѣла на Ліонеля.

— „Тетя Кэтъ, тетя Кэтъ!“ заговорила Жесмина съ волненіемъ — видишь, вотъ, это маленькій баринъ, и такой онъ милый, такой хорошенькій, и все утро мы играли въ малютки въ лѣсу и Троянскую войну, теперь онъ будетъ обѣдать съ нами, а потомъ я ему покажу свою старую лошадку!“

Тетя Кэтъ, при всемъ желаніи, ничего не поняла изъ разсказа своей маленькой племянницы и вопросительно взглянула на Рубена.

— „Это маленькій м-ръ Велискуртъ“, сказалъ пономарь, „сынъ того м-ра Велискурта, который нанялъ большой домъ. Онъ усталъ отъ своихъ уроковъ, и придумалъ устроить себѣ сегодня праздникъ — вотъ теперь надо ему съ нами пообѣдать, а затѣмъ онъ еще успѣетъ и поиграть съ Жесминой“.

Тетя Кэтъ привѣтливо улыбнулась и даже присѣла передъ молодымъ м-ромъ Велискуртомъ.

— „Войдите, сэръ, милости просимъ“, говорила она, „садитесь, будьте какъ дома! Обѣдъ готовъ, ждать нечего. Только надо дать Рубену время умыть руки, да благословить трапезу,—а ты, Жесмина, сними шляпку и сиди смирно, милочка!“

Жесмина тотчасъ сдернула съ своей головки большую, бѣлую шляпу, и сдернула такъ поспѣшно, что чуть было не оторвала длинный локонъ, который запутался въ завязкахъ! Ліонель даже вскрикнулъ при видѣ злополучнаго локона, и старательно помогъ ему выпутаться изъ завязки, которая причиняла ему такую боль! Безъ шляпы Жесмина оказалась еще прелестнѣе! Ліонель сѣлъ къ столу возлѣ нея. Столъ былъ накрытъ чистою скатертью, приборы были поставлены—дожидались только Рубена, который, умывъ руки, поспѣшно вернулся. Тетя Кэтъ поставила на столъ дымящуюся миску съ супомъ. Рубенъ наклонивъ голову, благоговѣнно произнесъ: „Господи, сподоби насъ возблагодарить Тебя за то, что мы нынѣ получимъ отъ Тебя!“ Милый голосокъ Жесмины проговорилъ: „Аминь“, и всѣ сѣли за столъ. Кушанье было самое простое, но свѣжее и здоровое. Тетя Кэтъ была отличная хозяйка и славилась по всей деревнѣ своимъ умѣньемъ готовить грушевую водичку. Она налила стаканъ этого питья и, присѣдая, подала Ліонелю, прося его отвѣдать. Ліонель съ наслажденіемъ выпилъ весь ста-

канъ и подумалъ, что едва ли могъ быть лучше нектаръ, которымъ услаждались боги на Олимпѣ! Онъ, къ великому своему удивленію, почувствовалъ, что у него—аппетитъ! Все, что бы ни подавалось за бѣдной трапезой Рубена Дейля, казалось ему такъ особенно вкусно! Когда обѣдъ кончился, всѣ встали, и Рубенъ снова, наклонивъ голову, произнесъ: „Господи! сподоби насъ благодарить Тебя за то, что мы нынѣ получили отъ Тебя“—и дѣвочка снова благоговѣйно отвѣтила: „Аминь“. Затѣмъ Рубенъ, прежде нежели вернуться къ начатой имъ работѣ, сѣлъ выкурить трубку, а Жесмина, не успѣвъ даже снять съ себя фартучекъ, который ей надѣли, пока она обѣдала, схватила Лионеля за руку и потащила его на задній дворъ, по которому важно прогуливалось нѣсколько пѣтуховъ, окруженныхъ цѣлою кучею смиренныхъ куръ.

— „Вотъ она, моя старая лошадка, видишь, вонъ тамъ за стѣной,“ закричала Жесмина,— „моя добрая, хорошая лошадка!“

Эта лошадка была не что иное, какъ старая игрушка, когда-то изображавшая изъ себя скачущаго коня, придѣланнаго къ качалкѣ... но увы! теперь бѣдное четвероногое лишилось и глазъ, и гривы, и хвоста, и вообще представляло изъ себя весьма плачевное зрѣлище! Но это ничуть не имѣло вліянія на привязанность Жесмины...

— „О, милая моя лошадушка,“ нѣжно шептала она, глядя ее по шеѣ— „ты знаешь, отчего я люблю тебя—оттого что ты бѣдная, оттого что ты никому не нужна, кромѣ Жесмины... приласкай ее,“ прибавила она, обращаясь къ Ліонелю, „она такая бѣдная—старенькая!..“

Ліонель, не смотря на свою серьезность и всѣ прочитанныя имъ книги—вполнѣ сочувственно отнесся къ этой дѣтской забавѣ—и въ свою очередь нѣжно обнялъ полу-разломанную игрушку.

— „Вотъ, такъ хорошо!“ хлопая въ ладоши, воскликнула Жесмина,— „теперь она совсѣмъ счастлива! Теперь она весело съ нами поскачетъ!“

Она быстро вскочила на своего любимого коня, и, качаясь назадъ и впередъ, дѣлала видъ, что скачетъ галопомъ. „Хорошо—а? кричала она, вся захихавшись—волосики ея развѣвались за ней, щеки горѣли, глаза смѣялись, отражая солнечный лучъ, который точно весело заигрывалъ съ нею! „Славная, славная лошадка! Лиля, теперь ты поѣзжай!“

— „Мнѣ, кажется, милая, что я для этого слишкомъ великъ,“ нерѣшительно возразилъ онъ,— „боюсь, что тяжело будетъ твоей лошадекѣ!“

— „Нѣтъ, нѣтъ, не будетъ тяжело,“ объявила Жесмина, прыгивая на землю,— „ну, попробуй, садись!“

Какъ могъ Ліонель устоять противъ ея желанія? Онъ перекинулъ одну ногу черезъ лошадь и, подражая Жесминѣ, также дѣлалъ видъ, что скачетъ быстрѣйшимъ галопомъ! Жесмина прыгала вокругъ и такъ громко, восторженно взвизгивала, что пѣтухи пришли въ страшное смятеніе, стали неистово кричать, хлопать крыльями, сзывая испуганныхъ куръ, которыя начали кудахтать еще громче, нежели пѣтухи кричали... Поднялся такой шумъ, такой гамъ, что Рубень прибѣжалъ узнать, что случилось, и, увидавъ, въ чемъ дѣло, самъ громко расхохотался и хохоталъ не менѣе дѣтей, побуждая разными прибаутками деревяннаго коня выказать всю свою прыть! Наконецъ игра кончилась, и Ліонель, веселый, превеселый передалъ добрую лошадь Жесминѣ, которая тотчасъ преподнесла ей горсть свѣжаго сѣна.

— „Ну, теперь, маленькій баринъ, я ухожу и останусь на кладбищѣ до вечера. Ты знаешь, гдѣ найти меня. Быть можетъ, ты еще побудешь не много съ Жесминой; она почти всегда одна, съ тѣхъ поръ какъ ея матери не стало, и ты, кажется, часто бываешь одинъ—поиграть вамъ вмѣстѣ никому вреда не сдѣлаетъ—но общай мнѣ, голубчикъ, что вернешься къ своимъ до захода солнца.“

— „Да, м-ръ Дейль, общаю—и благодарю васъ!“ отвѣтилъ Ліонель. „Я сегодня былъ очень,

очень счастливъ... Вы не знаете, какъ хорошо мнѣ было съ вами! Можно ли мнѣ еще когда нибудь навѣстить васъ и Жесмину?“

— „Конечно, можно“, радушно сказалъ Рубенъ,— „только бы отецъ твой не имѣлъ чего противъ этого. Прежде всего надо это выяснить.“

— „Да, конечно,“ промолвилъ Ліонель, но какая-то тѣнь пробѣжала по веселому его личику. Онъ слишкомъ хорошо зналъ, *что* скажетъ его отецъ, *какъ* посмотреть на это знакомство съ пономаремъ и его хорошенькой дѣвочкой... Онъ теперь объ этомъ ничего не упомянулъ и спокойно простился съ Рубеномъ. Рубенъ ушелъ, и дѣти остались одни. Послѣ возбужденія настала реакція — Жесмина стала не только серьезная, но даже печальная... они долго сидѣли молча, наконецъ Ліонель, глубоко вздохнувъ, сказалъ:

— „Жесмина, теперь я скоро долженъ буду уйти отъ тебя.“

— „А тебѣ жалко?“ спросила она.

— „Очень жалко“, отвѣтилъ онъ,— „ужасно жалко“.

— „И мнѣ жалко,“ призналась она,— „я буду плакать, когда ты уйдешь, Лиля... а ты, когда вернешься домой, будешь плакать?“

— „Нѣтъ, Жесмина, мнѣ нельзя плакать,“ сказалъ онъ съ горькой улыбкой— „я для этого слишкомъ великъ.“

— „Великъ! повторила она,—„да ты только крошечку выше меня!“

— „Да, но ты дѣвочка,“ сказалъ Ліонель,—„дѣвочкамъ плакать можно, а мальчикамъ стыдно. Однако, я иногда плачу, когда никто меня не видитъ“...

— „А я сегодня видѣла, какъ ты плакалъ,“ съ грустью замѣтила она,—„это было въ церкви передъ тѣмъ, чтобы идти намъ обѣдать. Скажи, о чемъ ты плакалъ?“

— „Не знаю,“ сказалъ онъ, и глаза устремились куда-то далеко... „Я думаю, что это была музыка... я очень люблю музыку, но въ ней что-то такое грустное... у моей мамы чудный голосъ,—и когда она поетъ, я просто слушать не могу,—сейчасъ чувствую себя такимъ жалкимъ и одинокимъ.“

Жесмина съ нѣжнымъ участіемъ глядѣла на него, но ей думалось, что странный онъ мальчикъ, если чувствуетъ себя жалкимъ и одинокимъ, потому что его мама поетъ. Она намѣренно перемѣнила разговоръ.

— „Я знаю большой домъ, въ которомъ вы живете“, объявила она, „и знаю, гдѣ въ зеленой изгороди есть дырка—въ нее я пролѣзу и проберусь прямо къ тебѣ въ садъ! Я хочу видѣть твою маму.“

Это намѣреніе Жесмины совсѣмъ смутило Ліонеля: онъ съ грустью посмотрѣлъ въ ея нѣжные голубые глазки и сказалъ:

— „Жесмина, милая, не надо это дѣлать! Тебя за это только разбранять,—моя мама бранить не будетъ, но мой отецъ разбранить, навѣрно.“

Жесмина, подумавъ немного, замѣтила съ достоинствомъ.

— „Значить, твой отецъ злой... зачѣмъ меня бранить,—когда я всегда стараюсь быть умницею,—мой папа меня никогда не бранить.“

Ліонель промолчалъ. Она прижалась ближе къ нему.

— „Я *должна* тебя еще увидѣть, Лиля,“ жалобно проговорила она,—„развѣ ты больше не хочешь меня видѣть?“

Ея голосокъ звучалъ такъ особенно трогательно, когда она это сказала, что сердце Ліонеля трепетно забилося...

— „Да, милая, милая маленькая Жесмина, хочу тебя онять видѣть—и увижу... буду приходить къ тебѣ часто, будемъ еще вмѣстѣ играть, общаю.“

— „Приходи, пожалуйста, приходи,“ сказала она, „потому что я тебя люблю—Лиля... ты не такой какъ другіе мальчики,—ты хорошенькій, и я—тоже хорошенькая...“

— „Да, милая, ты очень хорошенькая, хорошенькая какъ цвѣточекъ.“

Онъ посмотрѣлъ на нее и заглядѣлся, и молчалъ такъ долго, что она, наконецъ, вопросительно уставила на него свои удивленные глазки и спросила:

— „Лили, о чемъ ты думаешь?“

— „О тебѣ, Жесмина,“ нѣжно отвѣтилъ мальчикъ. „Я думаю о тебѣ и о цвѣтахъ.“

И, наклонивъ къ ней свою кудрявую головку, онъ поцѣловалъ ее, и она его поцѣловала.

Тихо колыхались вѣтки яблони, подъ которой они сидѣли, радостно птички распѣвали свои незатѣйливыя пѣсни, и казалось, что красота Божьяго міра волшебною тканью чистой радости окутала этихъ двухъ малыхъ дѣтей, которыхъ сблизило одно свѣтлое, лѣтнее утро! Увы! уже никогда не повторится ему... потому что міръ, созданный Богомъ—одно, а міръ, пересозданный человѣкомъ—другое... Тяжело и трудно для многихъ маленькихъ ножекъ пробираться по каменистой тропинкѣ, указанной безуміемъ нынѣшняго вѣка, безотрадно и уныло то, что жизнь сулитъ впередъ этимъ бѣднымъ, маленькимъ труженикамъ, и подчасъ приходится воздавать благодареніе великому Ангелу смерти, когда, движимый великою жалостью, онъ выхватываетъ „малыхъ сихъ“ изъ растлѣвающей среды, въ которой поблекла бы ихъ молодая жизнь, и возвращаетъ ихъ Тому, Кто такъ много возлюбилъ ихъ, сказавъ: „смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ, ибо говорю вамъ, что Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго.“



Глава VI.

Солнце было близко къ закату, когда Ліонель вернулся домой. Когда, замедляя шагъ, онъ подходилъ къ саду, онъ увидѣлъ, что у воротъ сада стоитъ его мать, очевидно поджидая его. Красота ея поразила его! Ему показалось, что *такою* онъ никогда ее не видалъ... ея роскошные, золотистые волосы блестѣли на солнцѣ золотыми переливами и лучистые глаза, мечтательно и томно устремленные вдаль, съ такою глубокою нѣжностью остановились на немъ, когда онъ подошелъ къ тому мѣсту, гдѣ она стояла. Она протянула ему свою бѣлую, изящную руку и тихо сказала:

— „Что же это, Лили? гдѣ ты пропадаешь весь день? Твой отецъ страшно разсерженъ—тебя разыскивали всюду, и въ деревнѣ кто-то сказалъ, что ви-

дѣли, какъ рано утромъ ты провожалъ м-ра Монтроза до дилижанса, и какъ затѣмъ сбѣжалъ съ какими-то уличными мальчишками играть въ прятки. Правда-ли это?“

„Нѣтъ, мама, *это* не правда,“ отвѣтилъ мальчикъ; „т. е. не совсѣмъ правда“, и онъ разсказалъ ей кратко и обстоятельно, какъ онъ провелъ весь день и закончилъ свой разсказъ словами: „вотъ, мама, *это правда*—все было такъ.“

М-съ Велискуртъ нѣжно обвила своею рукою его шею и, какъ-то загадочно самой себѣ улыбаясь, ласково сказала:

— „Бѣдный Лиля! итакъ ты усталъ, мой мальчикъ, и рѣшилъ, хоть разъ *по своему*, устроить себѣ праздникъ.... не мнѣ винить тебя... мнѣ думается, что на твоёмъ мѣстѣ я бы сдѣлала то же—но твой отецъ въ ярости—онъ непремѣнно хотѣлъ, чтобы ты встрѣтилъ профессора Гора.“

— „Но, мама, профессора Гора, вѣдь, ждали къ 10 часамъ вечера“?

— „Да, всѣ его такъ и ожидали, но оказывается, что онъ страдаетъ чѣмъ-то, ревматизмомъ, или люмбагомъ, уже не знаю, и въ послѣднюю минуту онъ рѣшилъ, что въ избѣжаніе простуды онъ пріѣдетъ не ночью, а днемъ. Уже два часа какъ онъ бесѣдуетъ наединѣ съ твоимъ отцомъ“.

Ліонель, промолчавъ съ минуту, спросилъ:

— „А на кого онъ похожъ, мама? видѣла ли ты его?“

М-съ Велискуртъ слегка усмѣхнулась.

— „О, да! я его видѣла—его мнѣ торжественно представили. На что онъ похожъ? ну, какъ тебѣ сказать—нѣчто среднее между старой мартышкой и верблюдомъ—трудно опредѣлить въ точности.“

Она улыбнулась насмѣшливо-презрительной улыбкой—а Ліонель, огорченный и озадаченный, грустно опустилъ голову... украдкой она взглянула на него и чувство жалости охватило ея сердце—она при-тянула его голову къ себѣ на грудь и страстно поцѣловала.... Чуткая душа мальчика была такъ рас-трогана этимъ неожиданнымъ и столь необычнымъ проявленіемъ любви и ласки, что онъ весь поблѣд-нѣлъ и весь задрожалъ отъ волненія.

— „Я хотѣла сказать, мой голубчикъ“, продолжала она, все еще обнимая его, „что онъ походить на всѣхъ старыхъ ученыхъ, которые давно забыли все, кромѣ себя и своихъ книгъ—они, какъ ты самъ зна-ешь, рѣдко обладаютъ красотою! Онъ очень уменъ—твой отецъ воображаетъ, что онъ гений—такого-же мнѣнія о немъ и въ Оксфордѣ и въ Кембриджѣ. Но разъ онъ здѣсь,—надо все таки ладить съ нимъ, Лиля!“

— „Знаю, мама,“ чуть слышно отвѣтилъ онъ.

Онъ нѣжно прижалъ къ губамъ бѣлую руку, которая ласково все еще лежала у него на плечѣ, и твердымъ, рѣшительнымъ голосомъ, сказалъ:

— „Я думаю, что лучше теперь же идти прямо къ отцу и сказать ему, гдѣ я былъ. Какъ бы онъ ни разсердился—не убьетъ же онъ меня—а если и убьетъ—то будетъ ему хуже, а не мнѣ.“

Съ этими словами цинической логики, грустно улыбнувшись матери на прощанье, онъ скорыми шагами направился къ дому. М-съ Велискуртъ стояла неподвижно, гдѣ онъ ее оставилъ, разсѣянно срывая лепестки съ розы, заткнутой за ея кушакъ, и не сводя глазъ съ удаляющагося мальчика. Когда онъ скрылся изъ виду, она порывисто отвернулась, и горячія слезы брызнули у нея изъ глазъ...

Между тѣмъ Ліонель дошелъ до комнаты отца и постучался въ двери.

— „Войдите!“ крикнулъ непріятный, столь знакомый ему голосъ.

Онъ вошелъ. М-ръ Велискуртъ вскочилъ со своего мѣста, онъ казался олицетвореніемъ гнѣва!

— „Такъ-то, милостивый государь!“ закричалъ онъ. „Наконецъ-то вы сыскались! Гдѣ же вы пропадали съ ранняго утра? И какъ смѣли вы выйти изъ дома безъ моего позволенія?...

Лионель смотрѣлъ ему прямо въ глаза—смотрѣлъ совершенно спокойно, ощущая странное чувство презрѣнія къ этому красно-лицому человѣку, у котораго языкъ путался отъ необузданнаго гнѣва, и который пользовался своимъ многолѣтнимъ опытомъ, своимъ образованіемъ, наконецъ даже своею физическою силою, чтобы травить и мучить маленькаго мальчика... Чувство это было не доброе, тѣмъ болѣе, что этотъ красно-лицый человѣкъ былъ его собственный отецъ—но худое или хорошее было это чувство, онъ его испытывалъ, и потому не чувствовалъ ни малѣйшаго раскаянія и совершенно равнодушно отвѣтилъ:

— „Я усталъ. Мнѣ нуженъ былъ свѣжій воздухъ и отдыхъ.“

— „Отдыхъ!“ М-ръ Велискуртъ какъ-то страшно повелъ глазами и схватился за воротъ своей рубашки: точно онъ чувствовалъ, что этотъ крахмальный воротъ или лопнетъ, или же его задушить... „Отдыхъ“ повторилъ онъ.— „Какой еще отдыхъ нуженъ для подобнаго лѣнтяя? Такъ можетъ выражаться только несчастный стряпчій, выклянчивая себѣ лишній праздникъ! Пока здѣсь проживалъ господинъ Монтрозъ, вы то и дѣло что отдыхомъ извоили пользоваться! И вы воображаете, что я буду бросать свои деньги на первоклассное обученіе, чтобы вы своимъ неблагодарнымъ, постыднымъ, отвратительнымъ поведеніемъ...“

— „Это *онъ* первоклассное обученіе?“ вдругъ вырвалось у Ліонеля, неожиданно для него самого— и онъ указаль на особу, которая сидѣла у окна, и которую онъ внимательно разсматриваль, уловивъ въ ней дѣйствительно нѣчто среднее между мартышкой и верблюдомъ.

М-ръ Велискуртъ своимъ ушамъ не вѣрилъ, и словъ не находилъ, чтобы выразить ужась...

— „Какъ вы смѣете, милостивый государь! Какъ вы смѣете дѣлать подобное замѣчаніе?“

— „Это не замѣчаніе, а только вопросъ, я не зналъ, что *это* нельзя,“ также спокойно сказалъ Ліонель.

— „Мнѣ весьма прискорбно, господинъ профессоръ,“ сказалъ м-ръ Велискуртъ, обращаясь къ особѣ, сидѣвшей у окна, „что *ваше* первое знакомство съ вашимъ будущимъ воспитанникомъ произведетъ на васъ впечатлѣніе удручающее... Мой сынъ—*это* мой сынъ, за это послѣднее время сталъ неузнаваемъ, но не теряю надежды, господинъ профессоръ, что вы не откажете заняться его исправленіемъ.“

Профессоръ Горъ улынулся тусклою улыбкою и сказалъ:

— „Конечно, конечно, но не могу скрыть ни отъ васъ, ни отъ себя, что начало плохое, весьма плохое.“

— „Отчего?“ живо спросилъ Ліонель. „Отчего не хорошо отдохнуть, когда чувствуешь, что отдых нуженъ? Вотъ, я отдохнулъ сегодня, и теперь уроки свои лучше справлю. Я много сегодня разговаривалъ съ пономаремъ Коммортинской церкви, обѣдалъ у него, онъ чловѣкъ очень добрый, очень умный.“

— „Умный! пономарь Коммортинскій!“ повторилъ м-ръ Велискуртъ съ громкимъ озлобленнымъ хохотомъ. „Что еще услышимъ! Прекрасное у васъ знакомство, нечего сказать! Сколько денегъ потрачено на ваше воспитаніе, и какъ подумаешь—для чего?..

Ліонель поблѣднѣлъ, и личико его снова приняло грустное и обычное свое кроткое выраженіе.

— „Конечно, не для чего тратить деньги на меня—ничего изъ этого не выйдетъ“—тихо сказалъ онъ. Я усталъ—очень усталъ, можетъ быть, я и боленъ, не знаю—знаю одно, что я не такой, какъ всѣ мальчики, и это меня смущаетъ. Если бы вы дали мнѣ отдохнуть, хотя немножко, быть можетъ, на много стало бы лучше.“

— „Жажда отдыха,“ замѣтилъ язвительно профессоръ Кадмон-Горъ—„какъ видно, составляетъ первую потребность природы этого молодого чловѣка.“

— „Неисправимая лѣнь, вотъ оно что!“ отчеканилъ м-ръ Велискуртъ. Къ этой лѣни еще присоединилась, къ моему великому изумленію, неслыхан-

ная дерзость, какъ могли вы сами заключить, бывъ свидѣтелемъ возмутительнаго сегодняшняго поведенія моего сына. Голодъ и одиночество, надѣюсь, окажутъ на него надлежащее воздѣйствіе и заставятъ образумиться къ началу завтрашнихъ занятій. Тѣлесное наказаніе я не допускаю въ воспитаніи моего сына — я нахожу, что одиночное заключеніе и голодъ — лучшія средства для обузданія непокорныхъ, строптивыхъ характеровъ.“

Профессоръ наклонилъ голову въ знакъ одобренія, и м-ръ Велискуртъ возвыся голосъ — произнесъ:

— „Ліонель, идите за мной!“

Ліонель равнодушно послѣдовалъ за отцомъ, который повелъ его на верхъ въ его же маленькую спальню. Когда они вошли въ комнату, м-ръ Велискуртъ тщательно закрылъ окно, отыскавъ спички, которыя положилъ къ себѣ въ карманъ, и сказалъ:

— „Здѣсь вы останетесь до завтрашняго дня, понимаете! У васъ хватитъ времени хорошенько обдумать всѣ ваши сегоднешніе похвальные выходы, и надѣюсь, что ваши размышленія доведутъ васъ до раскаянія.—Если же вы вздумаете плакать и здѣсь разыгрывать какую нибудь сцену, то...—

— „И зачѣмъ вы *такъ* говорите!“ перебилъ его Ліонель— „вы, вѣдь, знаете, что я никогда ничего подобнаго не дѣлаю.“

М-ръ Велискуртъ немного смутился—онъ сознавалъ, что мальчикъ былъ правъ—дѣйствительно, онъ отлично зналъ, что Ліонель никогда не терялъ самообладанія. Послѣ минутнаго молчанія онъ снова обратился къ мальчику и строго сказалъ:—

— „Въ послѣдній разъ у васъ спрашиваю—отчего вы сегодня сбѣжали изъ дома?“

— „Я уже сказалъ вамъ,“ усталымъ голосомъ проговорилъ Ліонель—„оттого что я усталъ—усталъ отъ книгъ—и отъ всего, что въ нихъ—противорѣчіе и путаница—путаница и противорѣчіе, больше ничего... и къ чему все это? Умрешь и забудешь все, что когда-нибудь зналъ... такъ что и трудъ напрасный и знаніе лишнее...“

— „Ахъ, глупецъ, ты, глупецъ!“ рѣзко воскликнулъ м-ръ Велискуртъ—„прежде нежели умирать, надо жить, а для жизни надо знать, что въ книгахъ писано!“ съ этими словами онъ быстро зашагалъ къ двери, съ шумомъ захлопнулъ ее и заперъ на ключъ.

Ліонель, оставшись одинъ, подошелъ къ огню. Столкновеніе съ отцомъ утомило его—но въ эту минуту онъ чувствовалъ себя почти что счастливымъ—онъ не жалѣлъ, что этотъ радостный, отмѣченный день приходится ему заканчивать сидя въ темнотѣ и полномъ одиночествѣ. Онъ ни темноты, ни одиночества не боялся, и ему думалось, что гораздо при-

ятѣ сидѣть одному, нежели въ присутствіи той, вновь прибывшей, столь непривлекательной особы... и невольно мерещились ему холодные, злые глазки профессора, его длинное, сморщенное лицо и язвительная, безжизненная улыбка. „Какъ не похожъ онъ на милаго Рубена Дейля!“ размышлялъ мальчикъ. — „Вотъ, Рубенъ могъ бы многому меня научить — онъ не читаетъ ни по-гречески, ни по-латыни, но онъ помогъ бы мнѣ понять, что такое жизнь... такъ хочу я знать, что такое — жизнь — и также — смерть...“ Онъ поднялъ глаза къ небу и долго, долго смотрѣлъ вверхъ въ небесную синеву. „Мнѣ такъ бы хотѣлось, чтобы были ангелы — *по правдѣ*, —“ сказалъ онъ себѣ въ полъ-голоса — „и даже, какъ-то думается, что они *есть*... милая Жесмина вѣрить въ ангеловъ — и я бы вѣрить хотѣлъ — если бы могъ...“

Мало по малу взоръ его перешелъ съ безоблачнаго неба на далекія горы, на поля, и остановился на кустахъ и деревьяхъ большого сада. — На одной изъ дальнихъ дорожекъ сада промелькнуло что-то бѣлое — онъ тотчасъ по этому бѣлому платью, узналъ свою мать — она тихо ходила взадъ и впередъ по дорожкѣ, и съ нею былъ сэръ Чарльсъ Лассель. „Онъ, вѣрно, обѣдать пріѣхалъ“, подумалъ Лиюнелъ, „м-ръ Монтрозъ сказывалъ, что онъ здѣсь гдѣ-

то по сосѣдству живетъ. Очень странно, отчего я такъ не люблю его...“ Смеркалось. Звѣздки, появлялись одна за другою, неясно мерцая въ прозрачной мглѣ. Ліонель задумчиво слѣдилъ за ними, и во мглѣ души его, одинъ за другимъ, всходили тѣ вопросы, на которые дать отвѣтъ можетъ только тотъ, кто *впроу* позналъ величавую истину—что жизнь наша есть *начинаніе*, приготовленіе къ *совершенію въ отчужденности*, что и начинаніе и совершеніе—все въ рукахъ Божіихъ. Эту опору, эту надежду, люди, воспитывавшіе его, безжалостно отняли у его молодой жизни, и теперь она, какъ надломленный цвѣтокъ, не имѣла въ себѣ силы приподняться изъ пыли сухихъ знаній и хитрыхъ мудрованій. Никто не научилъ его молиться. Ему было объяснено, что *есть* люди, которые молятся, но что этотъ обычай соблюдается только ради „народа,“ что народныя массы недостаточно образованы, чтобы отрѣшиться отъ суевѣрій и формулъ, съ которыми онѣ свыклись въ продолженіе многихъ вѣковъ—но что, самъ по себѣ, обычай этотъ нелѣпый. Разъ извѣстно, что законы природы непоколебимы—нелѣпо думать, что молитва можетъ измѣнить что-либо въ нихъ—нелѣпо думать, что слѣпая, глухая силы природы могутъ примѣчать страданія и исполнять прошенія человѣка, когда человѣкъ въ сравненіи со вселенной то же, что былинка въ лучѣ

солнечномъ, или муравей на муравейникѣ. Быстро схватывая мысль о ничтожествѣ человѣка, Ліонель спрашивалъ себя, зачѣмъ же человѣкъ цѣнитъ себя такъ высоко? Если его значеніе одинаково со значеніемъ былинки или муравья, зачѣмъ ему знаніе—и не кажется ли злой насмѣшкой, что ему дано стремленіе къ совершенству, дана сила вдохновенія и творчества, когда наукой *установлено*—что онъ не что иное, какъ презрѣнное, тлѣнное *вещество*?.. Въ душѣ ребенка уже таился зародышъ, заброшенный преступной рукой, того *протеста*, который возникаетъ, когда нѣтъ ни вѣры, ни надежды, и измученная, страдающая душа, не находя отвѣта на запросъ свой, не умѣя сама разъяснить себѣ страшную тайну жизни, доведена до мысли, что никакія стихійныя силы не могутъ помѣшать ей, если она того пожелаетъ, самой положить конецъ этой жизни ненужной, безцѣльной—вызванной въ бытіе тупою, безсознательною силой... Гуще и гуще ложились ночныя тѣни—наконецъ стало совсѣмъ темно—а Ліонель все сидѣлъ у окна, погруженный въ свои думы, и даже не помышлялъ ложиться спать. Скоро на черномъ небѣ выдѣлилось бѣлое, точно призрачное сіяніе—показался блѣдный мѣсяцъ и какимъ-то печальнымъ свѣтомъ озарилъ верхушки деревъ, лужайки, куртины сада; синяя мгла стояла въ неподвижномъ

воздухъ, придавая всему фантастическій и томный видъ, гдѣ-то далеко запѣлъ соловей—запѣлъ томно, вяло, безстрастно—и замолкъ... Ліонель хотѣлъ-было открыть окно, чтобы послушать эту пѣсню, но вспомнивъ, что окно было закрыто отцомъ, рѣшилъ, что лучше не трогать его. Однако мало-по-малу сонъ сталъ его одолевать... и, думая о милой, маленькой Жесминѣ—онъ заснулъ. Онъ спалъ крѣпко и долго, сидя на стулѣ, облокотясь головой объ стѣну, и во снѣ снилась ему та же Жесмина, только въ причудливой обстановкѣ, и приснилось ему еще, что „старая лошадка“ превратилась въ живого коня, достойнаго мчать на поле брани любого героя.—Вдругъ онъ вздрогнулъ и очнулся: кто-то тихо, но внятно, звалъ его:—„Ліонель, Ліонель!“ Онъ вскочилъ и, къ своему изумленію, увидѣлъ сэра Чарльса, который ловко примостился на одной изъ верхнихъ вѣтокъ высокаго вяза подъ его окномъ. У него въ рукахъ былъ маленькій свертокъ и онъ дѣлалъ какіе-то таинственные знаки. Не зная, что и думать, Ліонель тихо пріотворилъ окно.

—„О! наконецъ-то ты явился, молодецъ,“ сказалъ сэръ Чарльсъ, добродушно улыбаясь, „твоя мама тебѣ присылаетъ это—лови,“ и онъ ловко кинулъ въ окно свертокъ, который держалъ въ рукахъ. „Сандвичъ, пирожное и груши, смотри же, все скушай!

Старикъ хвастался, что уморить тебя голодомъ, теперь онъ заперся у себя, съ этой ослиной, съ профессоромъ—онъ ничего не узнаетъ—мама проситъ, чтобы ты все скушалъ, ради ея! Прощай.“

Ліонель высунулъ изъ окна свое блѣдное личико.

— „Сэръ Чарльсъ! Сэръ Чарльсъ,“ слабо звалъ онъ быстро спускавшагося внизъ барона.

— „Что?“ откликнулся сэръ Чарльсъ.

— „Пожалуйста маму за меня очень поблагодарите—и еще скажите ей, что я ее очень люблю!..“

Сэръ Чарльсъ обернулся—странное было выраженіе его лица—и стыдъ и раскаяніе и нѣжность, сказывались въ немъ...

— „Хорошо, милый мальчикъ, передамъ все! Покойной ночи!“

— „Покойной ночи“, отвѣтилъ Ліонель и еще минуты двѣ постоялъ у окна, вдыхая въ себя свѣжій воздухъ ночи, въ которомъ чувствовалась близость моря, и удивляясь ловкости, съ которой сэръ Чарльсъ перепрыгивалъ съ вѣтки на вѣтку и неслышно опустился на землю.

Мальчикъ закрылъ окно, ощущалъ на полу свертокъ, присланный ему, и разложилъ на окнѣ всѣ вкусныя вещи, которыя находились въ немъ. При лунномъ свѣтѣ онъ принялся кушать и удивлялся своему аппетиту! Онъ не понималъ, что одинъ день

свободы, проведенный на чистомъ воздухѣ, былъ причиною этого аппетита — что когда онъ вновь засядетъ за скучныя книги, за свой томительный, дневной трудъ, вернется та вялость, то равнодушіе, которыя отнимали у него не только аппетитъ, но и всякое желаніе двигаться съ мѣста. Но какъ бы то ни было—въ эту минуту неожиданное угощеніе при лучномъ свѣтѣ показалось ему восхитительнымъ! Совершенно довольный, онъ раздѣлся и легъ спать. Онъ скоро заснулъ, и серебристые лучи мѣсяца, входя черезъ незавѣшанное окно украдкой, тихо свѣтили на его милое, дѣтское личико. Видно, свѣтлое сновидѣніе посѣтило его—онъ во снѣ улыбнулся—той дивной, полу-удивленной, полу-таинственной улыбкой, которая встрѣчается лишь на устахъ спящихъ дѣтей и на устахъ вновь усопшихъ.





Глава VII.

На другое утро профессор Кадмон-Горъ сидѣлъ, поджидая своего воспитанника, въ такъ называемой классной комнатѣ. Комната была большая, низкая, съ бревенчатымъ потолкомъ въ стилѣ временъ Генриха VIII. Судя по ея устройству, она когда-то служила кладовой для бѣлья и для провизіи: вокруг нея сплошь стояли большіе дубовые шкафы съ широкими полками, а на стропилахъ потолка мѣстами были вдѣланы огромные желѣзные крюки, предназначенные выдерживать тяжесть пудовыхъ оленьихъ окороковъ, или даже цѣлыхъ оленей.

Профессоръ Горъ роста былъ большого, почему и находилъ расположеніе этихъ крюковъ весьма неудобнымъ... въ это же утро онъ успѣлъ уже порядочно стукнуться своей лысиной объ одинъ изъ нихъ:—

онъ накинулся на дерзкій крючокъ какъ на врага, котораго надо сбить съ позиціи — но желѣзо не поддавалось — и онъ лишь оцарапалъ себѣ руки и напрасно потратилъ время въ неравной борьбѣ.... Онъ былъ раздраженъ этимъ приключеніемъ — мелочи всегда раздражали его. Онъ сѣлъ къ окну на единственный удобный стулъ: — въ саду, передъ самымъ окномъ, садовникъ косилъ траву; запахъ свѣжей, только что скошенной травы, напомнилъ профессору о возможности схватить лихорадку.... „Не глупо ли, что я согласился ѣхать въ подобную глушь!“ бормоталъ онъ про себя. „Принимая во вниманіе разстояніе отъ города и всѣ прочія неудобства, слѣдовало запросить жалованья вдвое больше! Этотъ Велискуртъ настоящій хлыщъ — онъ воображаетъ, что что-нибудь да знаетъ, и ничего не знаетъ; его жена красавица, но нахальна какъ всѣ женщины ея типа, а мальчишка — настоящій осленокъ.... Придумали же люди воспѣвать деревенскую тишь!... Сегодня, чуть свѣтъ, разбудило меня неистовое пѣнье пѣтуха, — не постигаю, для чего люди приобрѣтаютъ такихъ дурацкихъ птицъ! — затѣмъ, несчастная корова начала мычать — а неумолкаемое чириканіе птицъ — это уже настоящій Пандемоніумъ! Сегодня же распоряжусь, чтобы срѣзали вьющіяся растенія у моего окна: онѣ даютъ пріютъ и насѣкомымъ и птицамъ — чѣмъ скорѣе отдѣлаюсь отъ тѣхъ и дру-

гихъ — тѣмъ лучше.“ Онъ вынулъ изъ кармана шелковый носовой платокъ удивительно яркихъ цвѣтовъ, громко высморкался и, вспомнивъ про возможность схватить лихорадку, захлопнулъ окно. Затѣмъ онъ развернулъ большой листъ бумаги, который наканунѣ передалъ ему м-ръ Велискуртъ — конспектъ того, что было пройдено Ліонелемъ по всѣмъ отраслямъ науки. Въ этотъ документъ онъ углубился, нахмутивъ свой морщинистый лобъ. Пока читалъ, онъ щурился, мигалъ, сердито морщился, чмокалъ губами, фыркалъ, безпокойно вертѣлся на стулѣ и представлялъ изъ себя нѣчто изумительно-безобразное, по истинѣ устрашающее!... Онъ не замѣтилъ, какъ дверь тихо рас-творилась и также тихо затворилась, и вошелъ Ліонель. Ліонель уставился на него удивленными глазами и тщательно его разсматривалъ... такъ прошло нѣсколько минутъ, наконецъ Ліонель сказалъ:

— „Доброго утра, профессоръ.“

Профессоръ вздрогнулъ, выпрямился, выпуталъ длинныя ноги изъ-подъ стула, оправилъ очки и сухо отвѣтилъ, глядя прямо въ глаза своему воспитаннику:

— „Доброго утра. Надѣюсь, что вы готовы приступить за занятія, что заспали свое дурное расположеніе духа.“

— „Не заспалъ, потому что засыпать было нечего,“ спокойно сказалъ Ліонель — „и мой отецъ это

очень хорошо зналъ. Не глупо ли обвинять другихъ въ томъ, въ чемъ сами виноваты? Но все это прошло— это было вчера, а теперь сегодня—и я совсѣмъ готовъ учиться!”

— „Весьма пріятно слышать,“ и профессоръ Горь улыбнулся своей тусклой улыбкой. „Вы позавтракали?“

— „Да.“

— „И достаточно отдохнули?“ спросилъ профессоръ, насмѣшливо подчеркивая послѣднее слово.

— „Не знаю—скорѣе, что нѣтъ...“ медленно проговорилъ мальчикъ, „мнѣ часто думается, что я бы хотѣлъ заснуть и спать цѣлыми днями безъ проспа...“

— „Вотъ какъ!“ и профессоръ фыркнулъ въ знакъ глубочайшаго своего презрѣнія. „Вѣроятно, вы принадлежите къ породѣ зимующихъ животныхъ.“

— „Очень возможно,“ отвѣтилъ Ліонель съ циническимъ спокойствіемъ. „Они засыпаютъ на всю зиму, это было бы пріятно и избавило бы отъ многихъ заботъ и хлопотъ. Неужели вы сами никогда не устаете?“

— „Физически, случается, что я устаю,“ сказалъ профессоръ, строго глядя на него— „особенно когда мнѣ приходится перевоспитывать характеры строптивые. Нравственно же я никогда не бываю уто-

млень. Теперь вы, быть можетъ, соблаговолите приступить къ занятіямъ?“

Ліонель улыбулся, откинулъ назадъ кудрявую головку и сказалъ:

— „О, теперь понимаю! вы то, что называютъ— сатирикъ. Васъ забавляетъ у меня спрашивать, „соболаговолю-ли я“ начать уроки, когда вы прекрасно знаете, что мальчикъ, какъ я, въ этомъ случаѣ не можетъ имѣть своего желанія и долженъ дѣлать, что ему приказываютъ. Я знаю, что такое—сатира. Вотъ Ювеналь былъ сатирикъ. Я разѣ писалъ его характеристику: онъ началъ съ того, что былъ—поэтъ. А затѣмъ усталъ писать красивыя поэтичныя вещи для людей, которые не хотѣли и не могли понять ихъ—и сталъ этихъ людей поднимать на смѣхъ! Его сослали въ Египетъ за то, что онъ насмѣялся надъ любимцемъ Императора Адріана—и говорятъ, что онъ умеръ отъ утомленія и раздраженія, но я думаю, что всего скорѣе онъ умеръ отъ старости—вѣдь, онъ жилъ болѣе 80 лѣтъ—онъ былъ даже старше васъ!“

Профессоръ покраснѣлъ отъ досады.

— „Старше? я полагаю, гораздо старше! много времени еще пройдетъ, пока мнѣ будетъ 80 лѣтъ!“

— „Неужели?“ продолжалъ наивно Ліонель. „Что же, судишь только по наружности—у васъ видъ ужасно старый—оттого я ошибся. Вы-ли начнете теперь

дѣлать мнѣ вопросы, или можно мнѣ прежде спросить о томъ, что такъ меня смущаетъ?“

Профессоръ съ недовольнымъ видомъ сказалъ:

— „Я полагаю, что вы достаточно меня экзаменовали, теперь я буду экзаменовать васъ. Мнѣ нужно знать, на сколько вы подвинулись въ своихъ занятіяхъ, прежде нежели съ вами идти дальше. По конспекту, прекрасно составленному вашимъ отцомъ, видно, что вы знаете кое-что изъ греческаго и латинскаго, что вы порядочно уже прошли изъ математики и многое усвоили изъ исторій. Стойте, гдѣ стоите, заложите руки за спину, — не могу переносить нервныхъ движеній пальцевъ — и когда вы отвѣчаете, смотрите мнѣ прямо въ глаза. У меня своя собственная метода, къ которой вамъ придется принаровиться.“

— „О, да!“ весело отвѣтилъ Ліонель — „у каждаго воспитателя своя собственная метода и никогда она не сходится съ методою другого! Въ началѣ бываетъ трудно понять, но я всегда стараюсь всѣми силами.“

На это профессоръ ничего не отвѣтилъ и приступилъ къ своему дѣлу катехизаціи съ ужасающимъ рвеніемъ! Онъ былъ пораженъ умомъ, развитіемъ, тонкимъ пониманіемъ своего ученика! Оказывалось, что этотъ ребенокъ теперь зналъ больше, нежели онъ въ свое время зналъ, когда ему было 20 лѣтъ! Однако, онъ скрывалъ свое изумленіе подъ видомъ непреклон-

ной суровости. Чѣмъ больше выказывалъ Ліонель свои дарованія, тѣмъ сильнѣе поднималось у профессора желаніе поработать надъ столь много обѣщающимъ матеріаломъ! Такова часто судьба даровитыхъ, способныхъ дѣтей—чѣмъ быстрѣе они схватываютъ, тѣмъ больше ихъ „пичкаютъ,“ и въ концѣ концовъ, ни мозгъ, ни сердце не выдерживаютъ, неудачи слѣдуютъ за неудачами, и приводятъ къ окончательному пораженію всего организма... Счастливъ, въ эти дни ложнаго прогресса, мальчикъ тупой, который учиться хорошо не можетъ, который засыпаетъ за книгой, срѣзывается на экзаменахъ и получаетъ розги—что много лучше „пичканья.“ По всѣмъ вѣроятіямъ, онъ впоследствии превзойдетъ во всемъ того перваго ученика, нагруженного наградами, который презрительно теперь относится къ нему—будетъ лучше его, пожалуй, даже—и умнѣ. Молодой сорванецъ, котораго мать-природа сманиваетъ въ рощи и луга, когда онъ долженъ бы сидѣть за книгой, который имѣетъ дерзновеніе находить лишнимъ прилежно изучать мертвые языки, разъ онъ никогда говорить на нихъ не будетъ, который, не переставая быть жизне-радостнымъ, безропотно переноситъ заслуженное наказаніе—способенъ выработать изъ себя—человѣка, покажетъ себя *сильнымъ* и на полѣ брани, сокрушая враговъ, и на полѣ жизни, въ борьбѣ съ препятствіями, ко-

торыя сѣмѣть превозмочь! Ученье, какъ оно нынѣ ведется, убиваетъ всякую самобытность въ человѣкѣ: ни ясность мысли, ни силы физическія не могутъ быть достояніемъ несчастныхъ жертвъ „пичканья.“

Профессоръ Горь былъ сторонникъ „пичканья“: человѣческій мозгъ представлялся ему въ видѣ растяжимаго мѣшка, въ который можно усиленно втискивать всѣ возможные предметы; выдержать—хорошо, не выдержать—значить, матеріалъ плохой, и нѣтъ въ томъ ни чьей вины... Его тусклые глаза оживились, желтыя, скулистыя щеки зарумянились—блестящіе отвѣты Ліонеля, послѣдовательность и точность его изложенія историческихъ фактовъ, быстрота, съ которой онъ схватывалъ смыслъ самой запутанной задачи, тотчасъ безъ затрудненія рѣшая ее—все это приводило педагога въ восторгъ. Мысль *о неестественности* подобнаго развитія въ маломъ ребенкѣ раза два промелькнула у него въ головѣ... въ числѣ другихъ наукъ онъ изучалъ и медицину—онъ нѣчто слышалъ о послѣдствіяхъ переутомленія мозга, о мозговыхъ страданіяхъ нервныхъ центровъ—но на этой мысли онъ не позволилъ себѣ останавливаться... Напротивъ, онъ заставилъ мальчика работать, точно былъ онъ здоровенный 20-ти лѣтній молодецъ. Правду сказать, въ самомъ Ліонелѣ не за-

мѣтно было ни малѣйшаго признака утомленія—отдыхъ и свобода предъидущаго дня такъ освѣжили его, что все, что, бывало, казалось ему несносной путаницей—теперь было просто и ясно—кромѣ того онъ ощущалъ какое-то лихорадочное желаніе изумить своего новаго воспитателя! Быстро, оживленно, краснорѣчиво слѣдовалъ отвѣтъ за отвѣтомъ—Ліонель самъ себѣ удивлялся! Наконецъ утреннія занятія пришли къ концу. Профессоръ Горъ, какъ-то нехотя, объявилъ, что онъ остался доволенъ.

— „Однако“, продолжалъ онъ, „со мною вамъ придется заняться по усидчивѣе. Я сейчасъ запишу, что вамъ прочесть сегодня вечеромъ и что приготовить къ завтраму. Помните, я требую ясность мысли столько же, сколько ясность слова—мнѣ *нужно* пониманіе, а не зубреніе!

— „У меня теперь занятія, вѣдь, каникулярныя,“ задумчиво замѣтилъ Ліонель, „васъ объ этомъ предупредали?“

— „Да, конечно. Теперешняя ваша работа несравненно легче той, которая предстоитъ вамъ, когда начнется учебный годъ. Васъ готовятъ въ школу?“

— „Нѣтъ, я бы ужасно желалъ, но...—“

— „Хорошо, хорошо“, перебилъ его педагогъ, „теперь дайте мнѣ сообразить.“

Онъ принялся записывать уроки въ слѣдующему дню, а Ліонель стоялъ возлѣ, слѣдя за длинными, костлявыми пальцами, которые водили перомъ.

— „Когда вы это кончите, можно-ли у васъ спросить *ту* вещь, которую я такъ хочу узнать?“

Профессоръ съ любопытствомъ взглянулъ на него. Онъ хотѣлъ, было, отвѣтить отрицательно—но общеніе съ этимъ привѣтливымъ, послушнымъ, столь даровитымъ мальчикомъ, какъ-то смягчило хроническое раздраженіе, въ которомъ этотъ современный Діогенъ постоянно пребывалъ.

— „Можно, конечно.“ — Профессоръ Горъ положилъ перо, прислонился къ спинѣ стула и, раздвинувъ тонкія губы, желая изобразить ободрительную улыбку, сказалъ: „Ну, говорите, что же это такое?“

Ліонель придвинулся къ нему и, глядя на него своими грустно-мечтательными глазами, сказалъ тихимъ голосомъ:

— „Вы, вѣдь, очень умны, умнѣ всѣхъ въ Англіи, какъ мнѣ говорили, вамъ все *это* давно извѣстно, а меня *оно* такъ смущаетъ... Вотъ что я хочу знать: гдѣ Атомъ?“

Профессоръ такъ вздрогнулъ, что даже подскочилъ на стулѣ...

— „Гдѣ Атомъ?“ повторилъ онъ, „какія глупости вы говорите. Что же вы этимъ хотите сказать?“

— „Нѣтъ это не глупость,“ твердо отвѣтил Ліонель, „это не можетъ быть глупостью, потому что въ этомъ причина всего, что есть. Вы и я, мы, вѣдь, живые, и мы живемъ на землѣ; цѣлые милліоны такихъ же живыхъ существъ, какъ мы, также живутъ на ней. Но книги утверждаютъ, что наша земля крошечная планета, самая ничтожная изъ всѣхъ планетъ, что есть милліоны, милліоны другихъ планетъ больше ея. Посмотрите на наше солнце! Безъ него мы бы жить не могли, но мы знаемъ, что оно не одно, что есть милліоны солнечныхъ системъ, отдѣльныхъ міровъ. Если *все это* не что иное, какъ атомы, и произошло изъ атома,—гдѣ же онъ?—этотъ удивительный, крохотный первый Атомъ, который, не подозрѣвая, что дѣлаетъ, безъ всякаго посторонняго указанія, не имѣя ни собственнаго разума, ни собственнаго сужденія, произвелъ такое чудное твореніе? Если вы сдумаете мнѣ объяснить, гдѣ онъ—не объясните ли мнѣ также, откуда онъ?“

Профессоръ Горъ точно испуганно глядѣлъ на маленькаго мальчика—онъ былъ и смущенъ и озадаченъ...

— „Видите,“ продолжалъ Ліонель, „я бы не сталъ говорить объ этомъ, еслибы не слышалъ, что вы такъ умны—я все поджидалъ кого-нибудь особенно умнаго... Воспитатель, который отъ насъ

только что отошелъ, м-ръ Монтрозъ, имѣлъ совсѣмъ другіе взгляды, нежели ученые—онъ вѣрилъ въ Бога, какъ вѣрятъ простые, необразованные люди. Но передъ нимъ былъ у меня воспитатель замѣчательно образованный—м-ръ Скитъ, онъ былъ, какъ онъ говорилъ—позитивистъ, и вотъ онъ-то много мнѣ рассказывалъ про атомъ—онъ мнѣ даже показалъ увеличенный снимокъ съ атома, видѣннаго черезъ микроскопъ—смѣшная какая-то длинная штучка, похожая на человѣческое ребро, какъ представлено оно въ моемъ учебникѣ анатоміи—и онъ мнѣ объяснялъ, что случайное соединеніе такихъ атомовъ создаетъ міры... ужасно это все меня изумляло—и я не могъ себѣ представить, какъ такая штучка, какъ первый Атомъ, могла до чего-нибудь сама додуматься, создать міры и населить ихъ людьми, на столько больше ея самой... Но смѣшной человѣкъ былъ этотъ м-ръ Скитъ; онъ постоянно твердилъ, что все—ничего, и ничего—все—и повторялъ онъ это такъ часто и такъ много надъ этимъ самъ смѣялся, что я боялся, что онъ сходитъ съ ума—и старался съ нимъ объ этомъ уже не заговаривать—но вы съумѣете мнѣ все объяснить—вѣдь, интересно знать въ точности, гдѣ теперь этотъ первый Атомъ и что онъ дѣлаетъ?”

Съ величайшимъ трудомъ, ошеломленный профессоръ собрался съ силами и рѣзко проговорилъ:

— „Вы хотите знать то, чего никто не знает. Что *есть* первая причина, это очевидно и не подлежить сомнѣнію, но гдѣ она, и откуда она—это непроницаемая тайна.“

Грустное, озабоченное личико Ліонеля стало еще грустнѣе.

— „Вы *это* называете „первая причина,“ сказалъ онъ, „но увѣрены ли вы, что первая причина есть атомъ?“

— „Никто ни въ чемъ не можетъ быть увѣренъ,“ сказалъ профессоръ Горъ, нахмуривъ брови, „мы только можемъ догадываться, руководясь тѣмъ, что дознано естественной наукой.“

Мальчикъ горько, почти презрительно улынулся.

— „Такъ вотъ оно какъ,—вы „догадываетесь“, что есть атомъ, а другіе „догадываются“, что есть—Богъ... Никто, значить, ничего и не знаетъ... По моему, какъ-то даже глупо воображать, что атомъ можетъ быть причиною всего—не гораздо ли проще и естественнѣе сказать себѣ, что причина всего — личность — личность разумная, совершенная?“

Профессоръ тутъ перебилъ его и съ достоинствомъ сказалъ:

— „Вы слишкомъ молоды, чтобы понять... вы не можете вникнуть въ глубину нынѣшнихъ научныхъ

открытій, разсуждать о нихъ съ такимъ маленькимъ мальчикомъ было бы смѣшно!“

— „Нѣтъ, право не смѣшно!“ съ грустью возразилъ Ліонель— „потому что я очень несчастный мальчикъ.... Я много думаю. Если-бы я былъ счастливый, я бы не думалъ. М-ръ Монтрозъ мнѣ говорилъ, что большинство мальчиковъ ни о чемъ не думаютъ, и что отъ этого имъ все дается несравненно легче, нежели мнѣ. Но, что же мнѣ дѣлать, когда я не могу—не думать!... Знаете,“—и какъ-то особенно трогательно стало выраженіе этого блѣднаго, дѣтскаго личика,— „не очень-то жить хочется, когда чувствуешь себя самой ничтожной частицею твореній атома, который не зналъ самъ что дѣлаетъ, когда творилъ... на сколько было бы отрадно же чувствовать, что *это* личность, которая знаетъ, *что* дѣлаетъ и *чего* хочетъ. И не лучше ли было бы, еслибы всѣ ученые сошлись на томъ, что первая причина не атомъ, а личность мыслящая...“

— „Атомъ можетъ быть—личность, и личность можетъ быть атомъ“, произнесъ профессоръ, забывъ, что онъ рѣшилъ не входить въ аргументацію съ такимъ малымъ ребенкомъ.

— „Вотъ, это похоже на то, что говорилъ м-ръ Скитъ, что ничего—все, и все—ничего“... замѣтилъ Ліонель. „Я этого понять не могу, и чѣмъ больше

думаю, тѣмъ больше *чувствую*, что только личность совершенная могла создать цвѣты, чудное небо, музыку и все... и я вѣрю, право вѣрю, что такъ какъ наука теперь дѣлаетъ такія изумительныя открытія, она вскорѣ откроетъ, что атомъ—личность, личность совершенная, которая знаетъ что дѣлаетъ, и *насъ* знаетъ, которая насъ жалѣетъ и намъ помогать хочетъ, потому что любить все, что создано ею.... И какъ бы это было хорошо!“ радостно воскликнулъ мальчикъ!

Дрожь пробѣжала по спинѣ стараго ученаго—ему жутко становилось отъ удивительныхъ разсужденій этого страннаго ребенка.... Предположеніе что, наука сама откроетъ, что атомъ—личность, навредило на него прямо ужасъ... и непрощенныя воспоминанія былого сами собой воскресали въ его душѣ: онъ видѣлъ себя не тѣмъ бездушнымъ человекомъ науки, какимъ былъ въ настоящую минуту, но малымъ ребенкомъ, который за матерью повторялъ молитву Тому, Кого маленький Ліонель смутно предчувствовалъ—всемогущему, всевѣдущему Богу, познаваемому во образѣ Христа.—Но, увлеченный теченіями нынѣшняго вѣка, онъ возсталъ противъ Божественнаго ученія и давно уже издѣвался надъ нимъ съ ожесточеніемъ, достойнымъ любого злобнаго фарисея!—Теперь раздраженіе его все росло и дошло

до того, что ему хотѣлось хорошенько потрясти это маленькое созданіе, такъ спокойно стоявшее передъ нимъ со страшными, неразрѣшимыми задачами.

— „Давно пора прекратить подобныя разсужденія“, грубо произнесъ профессоръ. „Еслибы вы предлагали мнѣ вопросы въ продолженіе цѣлаго года, я не могъ бы сказать вамъ что-нибудь другое: наукой дознано, что всѣ религіи сказка и обманъ, только люди невѣжественные могутъ придумать себѣ Бога—мы знаемъ лучше. Намъ извѣстно, что все твореніе построено случайнымъ соединеніемъ атомовъ—но откуда они—умъ человѣческій познать не можетъ. Мы не знаемъ, почему и для чего мы живемъ.“

Ліонель страшно поблѣднѣлъ.

— „Если такъ, то жить не стоитъ...“ сказалъ онъ слабымъ голосомъ.— „Зачѣмъ же люди рождаются, если жить не для чего,—если нѣтъ смысла ни въ чемъ, и нѣтъ цѣли въ будущемъ; зачѣмъ мучиться и трудиться?—Какъ это жестоко, и, по моему, даже глупо!“

— „Ваше мнѣніе о томъ, чего вы не понимаете, никакого значенія не имѣетъ“, торжественно замѣтилъ профессоръ. „Мы живы и, пока живы, должны разумно распредѣлять свое время.“

— „Но и ваше мнѣніе никакого значенія не имѣетъ“, наивно возразилъ Ліонель. „Атомъ столько же заботится объ васъ, сколько обо мнѣ, хотя вы

умны, а я глупый мальчик—для него все безразлично, онъ только и знаетъ, что крутится да крутится и о себѣ самомъ даже ничего не вѣдаетъ... Не все ли равно, на что употребляемъ свое время,—умремъ и конецъ всему. Хотѣлось бы вамъ умирать?”

— „Конечно, нѣтъ,“ нетерпѣливо отвѣтилъ профессоръ, „ни одинъ человѣкъ въ здоровомъ умѣ не желаетъ умирать. Я намѣреваюсь жить, сколько только возможно!“

— „Неужели? какъ же это странно! Вотъ я такъ думаю совсѣмъ иначе—мнѣ кажется, что я охотнѣе бы умеръ, нежели дожилъ бы до вашихъ лѣтъ и сдѣлался-бы такимъ, какъ вы теперь!“

— „Что это?“ блѣднѣя отъ гнѣва, строго спросилъ профессоръ, „вы начинаете говорить мнѣ дерзости?“

— „О, нѣтъ! О, пѣтъ!“ съ живостью воскликнулъ мальчикъ. „Развѣ я сказалъ что-нибудь неучтивое? Право, я не хотѣлъ, пожалуйста, простите меня! Я только думаю, что должно быть ужасно жить такъ долго, долго, такъ много работать и трудиться—и все даромъ... оттого я не желаю дожить до вашихъ лѣтъ. Вы, кажется, собирались идти въ садъ? Вотъ ваша шляпа и ваша палка,“—и онъ такъ мило ему ихъ подаль и такъ мило посмотрѣлъ на него, что разъяренный профессоръ сразу не нашель, что ска-

затъ. Онъ нахлобучилъ шляпу на голову, и строго остановилъ взоръ свой на маленькомъ философѣ.

— „Прочтите то, что я отмѣтилъ въ комментаріяхъ Цезаря,“ сказалъ онъ, — „это чтеніе отрезвитъ васъ. Вы имѣете склонность быть мечтательнымъ и фантастичнымъ, — этого я допустить не могу! Стойте на твердой почвѣ фактовъ, — факты твердо себѣ усвойте, тогда, быть можетъ, я еще что-нибудь выработаю изъ васъ. Но чтобы я больше никакихъ глупостей не слышалъ, ни объ атомахъ, ни объ вселенныхъ — въ *этомъ* мірѣ ваше дѣло — а *внѣ* этого міра у васъ дѣла нѣтъ.“

Съ этими словами онъ вышелъ изъ комнаты. Ліонель задумчиво смотрѣлъ ему вслѣдъ. „Какъ странно и смѣшно,“ размышлялъ онъ, „что люди всегда сердятся, когда чувствуютъ, что они ошибаются... Профессоръ знаетъ такъ же, какъ и я, что есть причина всему, но придерживается своей теоріи и даже себѣ самому не можетъ выяснить, атомъ это, или личность. Вотъ Рубенъ Дейль, онъ вѣритъ, что *это* личность. Какъ бы я хотѣлъ еще повидать Рубена, ему предложить два, три вопроса...“ Онъ глубоко вздохнулъ и, находя, что въ комнатѣ душно, открылъ окно: былъ полдень, солнце сильно жгло, цвѣты на клумбахъ, въ изнеможеніи, склоняли свои головки, птицы всѣ замолкли, укрываясь въ тѣни древесной

листвы. На боковой тѣнистой дорожкѣ, Ліонель завидѣлъ профессора, который ходилъ взадъ и впередъ съ его отцомъ,—они оживленно разговаривали:— глядя на нихъ, онъ улыбнулся невеселою улыбкою. „Они говорятъ обо мнѣ“, подумалъ онъ. „Профессоръ сообщаетъ, что я странный мальчикъ, удивляется, какъ это я хочу знать, для чего мы живемъ и дѣлаю вопросы объ атомѣ... Что же, быть можетъ, это и странно, и, конечно, я имъ надоѣдаю, дѣлая эти вопросы,—но что же мнѣ дѣлать,—я такъ хочу *это* знать...“ Затѣмъ, такъ какъ онъ былъ очень послушный и очень добросовѣстный мальчикъ, онъ отошелъ отъ окна, сѣлъ за столъ и раскрылъ главу, отмѣченную въ комментаріяхъ Цезаря; надъ ней онъ терпѣливо проработалъ, пока позвали его обѣдать.





Глава VIII.

Въ скучномъ однообразіи потянулись дни за днями. Единственнымъ занятіемъ Ліонеля было заучиваніе уроковъ, а единственнымъ развлеченіемъ часовая прогулка по пыльной, большой дорогѣ, въ сопровожденіи профессора Кадмон-Гора. Профессоръ ничего привлекательнаго не находилъ—ни въ лѣсахъ, ни въ дугахъ; моря онъ терпѣть не могъ—и пришелъ бы въ ужасъ отъ одной мысли совершить дальнюю прогулку—онъ допускалъ только „шаганіе“ на пальцемъ солнцѣ съ цѣлью гигиенической. Шагаль онъ такими шагами, что маленькія ножки Ліонеля едва поспѣвали за нимъ. Разговоровъ больше никогда не бывало между воспитанникомъ и воспитателемъ... Бѣдный мальчикъ теперь позналъ мудрость молчанія и всѣ свои думы думалъ про себя. Иногда, по ночамъ, эти думы мѣшали ему спать, вызывая какую-то странную, тупую боль

въ его усталой головѣ. Всегда теперь вялый, усталый, онъ больше не выказывалъ тѣхъ блестящихъ дарованій, которыя такъ поразили его воспитателя въ первое утро знакомства съ нимъ—теперь онъ еле-еле подвигался впередъ, и профессоръ съ негодованіемъ объявилъ ему, что—ошибся въ немъ... Съ каждымъ днемъ бѣдному мальчику казалось, что его уроки становятся труднѣе—та масса свѣдѣній, которыя ему приходилось усваивать, путалась и точно совсѣмъ терялась въ его памяти, и мало-по-малу у него пропадала всякая охота заниматься. Иногда онъ испытывалъ какое-то странное ощущеніе, которое ужасно пугало его: вдругъ, иногда находило на него дикое желаніе громко закричать, выскочить изъ окна—словомъ, сдѣлать что-нибудь безразсудное!.. Въ такія минуты онъ крѣпко сжималъ свои горячія руки, стискивалъ губы и старался углубиться въ заданный урокъ—но нервный страхъ, передъ своимъ собственнымъ ощущеніемъ, былъ на столько великъ, что онъ весь дрожалъ и холодѣлъ съ головы до ногъ... Никогда онъ не жаловался, никогда не терялъ самообладанія—только глаза у него какъ-то смотрѣли вглубь—и выраженіе маленькаго ротика стало еще серьезнѣе. Въ одно прекрасное лѣтнее утро, судьба сжалилась надъ нимъ, дозволивъ мимолетной радости коснуться и его! Отецъ его и профессоръ Горъ внезапно рѣшили

сдѣлать вдвоемъ экскурсію въ Лимуть, въ такъ называемую „Англійскую Швейцарію,“ они должны были выѣхать съ раннимъ дилижансомъ, переночевать въ Лимутѣ и вернуться на другое утро. Ліонеля снабдили порядочнымъ запасомъ всякихъ уроковъ и строго-на-строго наказали не выходить за ограду сада. М-съ Велискуртъ уѣхала съ утра съ какимъ-то Лондонскимъ знакомымъ, ее ждали назадъ только поздно вечеромъ.

— „Итакъ, вы останетесь совершенно одни въ домѣ“—сказалъ м-ръ Велискуртъ, собираясь на свою пріятную прогулку и бросая строгій взглядъ на своего маленькаго сына—„это послужитъ прекраснымъ искусомъ для вашего послушанія—я полагаю, что вы понимаете, что значить—честное слово?“

— „Я также это полагаю“—отвѣтилъ мальчикъ, слабо улыбаясь.

— „Поэтому прошу васъ дать мнѣ ваше честное слово“—продолжалъ его отецъ, „что вы изъ сада не выйдете, садъ достаточно великъ для моціона, и если только вы добросовѣстно займетесь уроками, которые заданы вамъ, едва ли хватитъ у васъ времени на праздное шатанье! Чтобы не было ни бѣготни съ деревенскими мальчишками, ни новыхъ знакомствъ съ пономарями—слушите?“

— „Слышу,“ сказалъ Ліонель.

— „И вы обѣщаете не выходить изъ сада?“

— „Даю свое честное слово“—и Ліонель снова улыбулся—на этотъ разъ, полу-презрительною улыбкой.

— „У него сильно развито чувство долга“—вмѣшался профессоръ, сдвинувъ густыя брови, „это самая примѣчательная черта его характера.“

Ліонель молчалъ. Говорить ему было нечего. Если бы онъ заговорилъ о томъ, что было у него на душѣ, его бы не поняли, или даже не выслушали. Люди взрослые всегда какъ-то небрежно относятся къ дѣтскимъ печалямъ. Между тѣмъ, дѣтская печаль можетъ быть такая же глубокая, такая же горькая, какъ печаль людей давно закаленныхъ въ страданіяхъ—пожалуй, даже въ дѣтяхъ она интенсивнѣе... потому что въ молодые годы печаль—страшная, *неожиданная* гостя, впоследствии же она становится *привычнымъ* товарищемъ, и ея частыя, порою ежедневныя посѣщенія, мало даже удивляютъ... Когда, наконецъ, отецъ и профессоръ уѣхали, и онъ видѣлъ собственными глазами, какъ мимо дома промчалъ ихъ знакомый ему дилижансъ—онъ вздохнулъ свободно и на душѣ вдругъ стало такъ легко! Онъ высунулся изъ окна, радостно вдыхая въ себя свѣжій утренній воздухъ, серьезное личико мгновенно преобразилось, что-то наивно-дѣтское выразилось на немъ. Какъ ему было жалко, что нѣтъ дома его ма-

тери—ему бы хотѣлось, вотъ сейчасъ, побѣжать къ ней, еще и еще поцѣловать милое, прекрасное лицо, которое свѣтилось такой нѣжностью при видѣ его, въ *тотъ* достопамятный вечеръ. Но быть можетъ, ея друзья не такъ долго задержать ее, подумалъ онъ—тогда онъ еще успѣетъ поговорить съ ней, передъ тѣмъ чтобы идти спать. И мысль отрадная тихо вкралась въ его душу—что она, его дорогая, его милая красавица-мама, *любитъ его*, хотя и трудно было этому повѣрить!.. Очень, очень трудно... она рѣдко когда говорила съ нимъ, никогда не выражала желанія видѣть его и, казалось, даже забывала о его существованіи. А все же—Ліонель не могъ забыть, *какъ* она въ *тотъ* вечеръ его поцѣловала, какъ нѣжно, неизъяснимо нѣжно, свѣтились ея глаза... Съ тѣхъ поръ уже прошли двѣ недѣли, двѣ долгія недѣли непрерывнаго труда, подъ гнетомъ постояннаго присутствія профессора Кадмон-Гора. Ліонель тяжело вздохнулъ... Однако, сегодня, весь день былъ его, имъ онъ долженъ былъ насладиться вдоволь! Солнце свѣтило такъ радостно, трава была такая ярко-зеленая, золотистая мгла, окутывая горы, долины, деревья, поля, всему придавала видъ такой волшебный—что Ліонель не могъ устоять противъ призывнаго гласа природы и рѣшилъ—что будетъ въ саду готовить свои уроки. Онъ выбралъ двѣ, три

книги изъ той кипы, которую профессоръ тщательно разложилъ на столѣ, и вышелъ. Черезъ минуту онъ очутился на любимой своей дорожкѣ—она шла параллельно съ питомникомъ розъ, расположеннымъ вдоль самой изгороди сада. Прелестныя розы—бѣлыя, красныя, желтыя росли здѣсь въ изобиліи—онѣ точно привѣтливо ему улыбались, когда онъ подходилъ ближе, любуясь ихъ красотою, а тонкій ихъ ароматъ возбуждалъ въ немъ какія-то радужныя мечты... онъ совершенно забылъ о своихъ книгахъ, т. е. вспомнилъ о нихъ только для того, чтобы сложить ихъ на дальнюю скамейку—затѣмъ онъ растянулся во весь ростъ на мягкой травѣ, нагрѣтой солнышкомъ, и заложивъ руки подъ голову, сталъ пристально смотрѣть прямо вверхъ въ недосягаемую, безпредѣльную глубь синяго неба—вонъ тамъ—высоко, высоко, тихо плыло маленькое прозрачное облачко,—ниже, но все же высоко, летала быстрая ласточка,—а прямо надъ нимъ въ небесной выси, млѣя въ солнечныхъ лучахъ, жаворонокъ звонко пѣлъ свою одухотворенную, не земную пѣсню. Листья деревъ нѣжными своими очертаніями, точно обведенными карандашемъ художника, выступали въ неподвижномъ воздухѣ—все было удивительно тихо, и эта красота природы, которую не заслонялъ собою человѣкъ, трепетомъ наполняла чуткую душу

ребенка. Если бы вдругъ въ этой тишинѣ раздался голосъ его отца, подумалъ онъ, какая темная тѣнь легла бы на всю эту красоту и сразу омрачила бы ее... Дроздъ спустился на траву совсѣмъ близко отъ него, и пытливо глядѣлъ на него своими круглыми, блестящими, черными глазками,—его появленіе не нарушило гармоніи общей красоты—а появленіе отца нарушило бы... Чѣмъ это объяснить?.. Онъ принялся разбирать это свое чувство, и снова вопросы тревожные зашевелились въ его душѣ: любить-ли его отецъ? любить-ли его мать? Долженъ-ли онъ любить ихъ? И кому какая польза отъ этого?

Пока онъ такъ мечталъ, кто-то вдругъ тихо назвалъ его по имени:

— „Лиля, Лиля!“

Лионель вскочилъ—онъ смотрѣлъ во всѣ стороны—но нигдѣ никого не было.

— „Л-и-л-я!“

На этотъ разъ протяжный этотъ звукъ, казалось, выходилъ изъ-за изгороди, у которой росли розы, и которая сама представляла сплошную массу зелени и тѣхъ милыхъ дикихъ цвѣтовъ, которые составляютъ красу луговъ и долинъ Девоншира. Онъ подошелъ поближе, продолжая озираться кругомъ—и вдругъ завидѣлъ маленькое, розовенькое личико, осторожно выглядывавшее изъ-подъ густой вѣтки вьющагося

жасмина, которое улыбалось ему полу-плутовской, полу-испуганной, радостной улыбкой.

— „Лиля, вотъ, вотъ, я тебя вижу!“ и личико протиснулось дальше сквозь покровъ зелени и цвѣтовъ. — „Лиля!“

— „Жесмина, милая, милая!“ воскликнулъ Ліонель, вспыхнувъ отъ радости при видѣ милой дѣвочки, которую онъ не надѣялся больше увидѣть. „И какъ же ты дошла сюда? Какъ нашла дорогу?“

Маленькая миссъ Дейль не тотчасъ отвѣтила. Озираясь кругомъ, она спросила:

— „Развѣ нельзя мнѣ выйти отсюда—я хочу видѣть твою маму.“

Ліонель быстро собралъ, что исполнить желаніе Жесмины было не безопасно—возможно, что и садовнику и еще кому нибудь изъ прислуги было наказано наблюдать за нимъ—за себя онъ вовсе не боялся, но онъ не желалъ навлечь бѣду на Рубена и на его дѣвочку. Онъ опустился на колѣни передъ цвѣтущимъ жасминомъ и самой Жесминой и, притянувъ къ себѣ милое личико, нѣжно, нѣжно поцѣловалъ...

— „Мамы нѣтъ сегодня дома,“ сказалъ онъ почти шопотомъ, опасаясь, что его могутъ подслушивать, „она вернется только къ ночи. Мой отецъ и мой воспитатель также уѣхали, и я совсѣмъ одинъ. Я обѣщалъ не выходить изъ сада, а то давно бы при-

шелъ къ тебѣ, Жесмина. Какъ поживаетъ м-ръ Дейль?”

— „Хорошо, благодарствуй“, съ достоинствомъ отвѣтила Жесмина. „Теперь папа занятъ—онъ роетъ другую могилку—крохотную, крохотную могилку для такого крохотнаго ребенка. Такая могилочка хорошенькая!“ Она вздохнула и приложивъ къ ротику свой пальчикъ, подняла къ небу свои голубые глазки,—точно ясновидящій ангель. „Лиля, что съ тобой?“ съ беспокойствомъ вдругъ спросила она. „Какой ты бѣлый, совсѣмъ бѣлый, знаешь, Лиля, ты точно такой, какъ была мама, когда она ушла на небо.“

Лионель улыбнулся.

— „Я очень много учился это время“—отвѣтилъ онъ—„когда читаешь много книгъ, всегда устаешь и блѣднѣешь. Ты никогда книгъ не читаешь?“

Жесмина покачала головой.

— „Я читать еще не умѣю“, призналась она, „могу только разбирать по складамъ—волшебную свою книжку я всю знаю, а Божью книгу мнѣ тетя Кэтъ читаетъ.“

Волшебная книга и Божья книга—здѣсь начинались и здѣсь кончались познанія Жесмины... Лионель улыбнулся, невольно вспомнивъ профессора и представляя себѣ, съ какимъ презрѣніемъ онъ отнесся бы и къ маленькой дѣвчонкѣ, и къ волшебной книжкѣ,

и къ книгѣ Божіей! Продолжая стоять на колѣняхъ, онъ тихонько продѣлъ между вѣтокъ одинъ изъ длинныхъ локоновъ Жесмины и обернулъ его вокругъ цвѣтовъ—одного съ нею имени.

— „Теперь, ты уйти не можешь!“ весело сказалъ онъ, „ты моя маленькая плѣнница!“

Она черезъ плечо взглянула на то, что онъ дѣлалъ, и весело разсмѣялась—и пока она смѣялась, ея хорошенькія щечки были всѣ точно изрыты прелестными ямочками..... Совершенно довольная новымъ устройствомъ, она расположилась по удобнѣе посреди зелени, отъ удовольствія воркуя—точно голубка!

— „Я тебѣ, вѣдь, говорила, что въ изгороди есть дырка, въ которую я пролѣзть могу,“ сказала она съ торжествующимъ видомъ. „Вотъ это и есть та дырка! И она всегда была—и я часто приходила, когда никто здѣсь не жилъ, и рвала розы. Здѣсь много, много розъ?“

Сказала она это вопросительно. Ліонель понялъ намекъ и, вскочивъ проворно, нарвалъ цѣлый букетъ самыхъ чудныхъ полу-распущенныхъ розъ—и, ставъ снова на колѣни, подалъ ей его. Она запрятала весь свой маленькій носикъ въ душистые лепестки.

— „Ахъ! какая прелесть,“ сказала она, вздыхая. „Ты милый, очень милый мальчикъ—я люблю тебя! А гдѣ твои Троянскія войны?“

Онъ весело засмѣялся.

— „Тамъ, гдѣ онъ всегда были и гдѣ навсегда останутся—въ эпической поэмѣ Гомера! Все та же старая исторія!

— „Да, все та же старая исторія!“ какъ то уморительно повторила Жесмина, „помню—была не добрая принцесса и были.... О! Лиля! смотри—пчела!“...

Она вся съезжилась, прижимая къ себѣ свои розы, и ея хорошенькое личико выражало неподдѣльный ужасъ при видѣ большой, смѣлой пчелы, которая, громко жужжа, кружилась надъ ней—видимо недоумѣвая, цвѣтокъ-ли она—и не кроется-ли въ ней медовая сладость.—Ліонель, вооружась длиннымъ листомъ папоротника, отважно защищалъ свою маленькую плѣнницу отъ крылатаго врага—наконецъ, пчела, убѣдившись, что эти хорошенькія созданія все же—не цвѣты—лѣниво, важно полетѣла дальше....

— „Какая она дурная,“ проговорила Жесмина, провожая глазами удалявшуюся пчелу. „У нея всѣ цвѣты въ саду, кажется, довольно съ нея, зачѣмъ ей еще мой?“

— „Конечно, пчелка дурная,“ согласился Ліонель—въ эту минуту онъ чувствовалъ себя такимъ счастливымъ... и раздвинувъ руками зелень и цвѣты, которые на половину скрывали ее, онъ ближе къ ней

подсѣлъ. „Скажи, Жесмина, неужели ты шла совсѣмъ одна черезъ все большое поле?“

— „Да“, самодовольно отвѣтила она, „черезъ поле ближе, чѣмъ по большой дорогѣ. Иногда на немъ много, много коровъ—я ихъ боюсь—и идти тогда не могу—но сегодня коровокъ нѣтъ, и я все время такъ бѣжала, чтобы скорѣе придти къ тебѣ, Лиля“, и она нѣжно взглянула на него, „а ты когда ко мнѣ придешь?“

Веселое личико Ліонеля затуманилось.

— „Не знаю, Жесмина“, грустно сказалъ онъ... „какъ бы мнѣ хотѣлось придти! Давно бы пришелъ, если бы можно было.... но теперь столько у меня уроковъ—да кромѣ того, безъ профессора меня никуда не пускаютъ.“

— „Профессоръ, а кто онъ такой?“ спросила Жесмина.

— „Онъ мой воспитатель, онъ очень умный и учить меня.“

— „Развѣ не могъ бы и профессоръ къ намъ придти вмѣстѣ съ тобой?“

— Нѣтъ, милая, онъ бы не захотѣлъ, онъ чело-вѣкъ странный.

— „Я понимаю“, перебила его Жесмина, кивая головкой. „Онъ дурной—такой же, какъ злой дядя у малютокъ въ лѣсу, и какъ твой отецъ. Вѣдь, ты

сказалъ, что твой отецъ разбранилъ бы меня за то, что я пролѣзла черезъ дырку!”

— „Да, я въ этомъ увѣренъ,” сказалъ Ліонель.

— „Ну, такъ онъ дурной, очень дурной,” рѣшила она и, понизивъ голосъ, прибавила: „бѣдный, бѣдный Лиля—такъ мнѣ тебя жалко...”

Голосокъ ея звучалъ какъ-то особенно жалобно и нѣжно—Ліонель почувствовалъ, что слезы подступаютъ ему на глаза.

— „Отчего, милая”? дрожащимъ голосомъ спросилъ онъ, и чтобы скрыть свое волненіе сталъ распутывать локонъ, привязанный къ вѣткѣ жасмина.

— „Потому что ты одинокій, и я боюсь, что меня ты уже больше никогда не увидишь...”

И снова она подняла свои голубые глаза къ голубому небу, точно далеко въ горнемъ мірѣ что-то чудное *къ себѣ* манило ее.... Ліонель взялъ въ свои ея маленькія ручки, грустно защемило его сердце, но его грусть была—иная....

— „Милая, говорить такъ не надо,” тихо промолвилъ онъ. „Но, вѣрно, я еще часто буду видѣть тебя—когда даже изъ Коммортина уѣдемъ, я тебя не забуду—я вернусь къ тебѣ, когда буду большой.”

Она задумчиво остановила на немъ свои глазки.

— „Много времени пройдетъ, Лиля, пока ты будешь „большой.”

Онъ промолчалъ. Конечно, она была права. Много, много времени дѣйствительно пройдетъ, пока онъ станетъ „большой“—да еще настанетъ-ли оно для него? Онъ чувствовалъ, что не хотѣлось бы ему быть когда нибудь „большимъ“; быть „маленькимъ“,—и то для него было уже такъ тяжело... Онъ не могъ себѣ представить даже возможности прожить долгіе, долгіе годы, въ трудѣ и работѣ, только для того, чтобы достичь того возраста, въ который люди становятся „большими“, и знать, что за тѣмъ потянутся еще долгіе годы новаго труда, новой работы, пока наконецъ не настанетъ старость—и все закончится—могилою и забвеніемъ того, что когда-нибудь да было... Онъ зналъ, что большинство людей живетъ, ни мало не смущаясь этимъ своимъ жребіемъ—но онъ, для себя, страшился его... Если бы послѣ смерти наставала жизнь иная—какимъ свѣтомъ освѣтилось бы все, что теперь было такъ загадочно—но ученые эту надежду разрушили, возвѣстивъ, что смерть есть конечный предѣлъ жизни души... Въ глубокое раздумье онъ все продолжалъ стоять на колѣняхъ передъ Жесминой, держа ея маленькія ручки—а она такъ серьезно на него смотрѣла своими большими лучезарными глазами—и оба молчали—какъ бы чувствуя приближеніе чего-то непонятнаго для нихъ самихъ... Тѣнь грядущаго таинственно ихъ

настигала—или же, то была не тѣнь—а свѣтлое облако, которое тихо надвигалось, чтобъ укрыть ихъ и осѣнить свѣтлою радостью?.. Казалось невѣроятнымъ, чтобы и эти двѣ чистыя, молодыя жизни, въ свое время, вошли въ общую колею, чтобы, не щадя ихъ, грубость вѣка и на нихъ наложила свое клеймо—*возмутительно* было подумать, что этотъ вдумчивый мальчикъ съ чуткой, поэтической душою превратится въ обыденный *типъ современнаго* человека, и еще возмутительнѣе была мысль, что эта прелестная дѣвочка, въ глазахъ которой отражалось само небо—превратится въ *типъ современной* женщины—что въ нихъ обоихъ потухнетъ святой огонь, который теперъ теплился тихимъ, яснымъ свѣтомъ... Что ожидало этихъ дѣтей? Кто бы могъ сказать это!

....Однако, Жесмина зашевелилась въ своемъ зеленомъ гнѣздышкѣ.

—„Я сейчасъ уйду, Лиля,“ объявила она.

—„Зачѣмъ такъ скоро?“ воскликнулъ Ліонель, „останься еще немножко.“

—„Нельзя,“ сказала она, „я общала папѣ придти за нимъ передъ обѣдомъ, онъ теперъ ждетъ меня.“

— „Приходи еще послѣ обѣда“, просилъ мальчикъ, „вернись въ 4 часа, я буду здѣсь, буду ждать тебя.“

— „Хорошо, Лиля, постараюсь,—может быть, приду, может быть и нельзя будетъ,“ сказала она вздыхая. „Но я увѣрена, что я тебя скоро опять увижу—не стану ждать, чтобы ты былъ „большой!“ Только не забывай меня, Лиля!“

— „Тебя забыть—нѣтъ, нѣтъ“—съ жаромъ отвѣтилъ мальчикъ, поправляя шляпку на ея головкѣ, „никогда, никогда тебя не забуду, милая, милая, маленькая Жесмина!“

Она тихо улыбнулась.

— „Хочешь еще разъ поцѣловать меня, Лиля?“ тихо спросила она.

Въ отвѣтъ онъ крѣпко обнялъ ее и нѣжно, нѣжно поцѣловалъ маленькія губки, которыя изъ-за цвѣтовъ протягивались къ нему.

— „Прощай, Лиля!“ сказала она тогда—и на четверенькахъ принялась выползать изъ-подъ зелени.

— „Прощай, Жесмина! но не надолго!“ отвѣтилъ онъ.

— „Не надолго“—повторила она—„только не забывай меня, Лиля!“

— „Никогда“—твердо проговорилъ мальчикъ, грустно ей улыбаясь и глядя на нее сквозь густую зелень изгороди, за которой она уже теперь стояла. Она тихо пошла по тропинкѣ и вдругъ обернулась—быстро побѣжала назадъ и, раздвинувъ обѣими руч-

ками вѣтки жасмина, еще разъ выглянула изъ за *своихъ* цвѣтовъ.

— „Лилия, прощай! Не надолго!“ сказала она и затѣмъ исчезла.

Оставшись еще разъ одинъ, Ліонель уже не чувствовалъ себя такимъ, какимъ былъ въ это же утро до появленія милой, маленькой гостыи—Жесмина словно унесла съ собою всякую радость—все вокругъ измѣнилось, и потускнѣло... Какъ бы побѣждалъ онъ теперь за ней! Какъ было бы весело догнать ее—еще разъ съ ней провести долгій, радостный день! Но—онъ помнилъ слово, данное отцу... Страшная тоска на него напала; онъ, было, попробовалъ взяться за книги—но напрасно—мысли его блуждали гдѣ-то далеко—ни на чемъ не могъ онъ сосредоточиться. Прямо противъ скамейки, на которой онъ сидѣлъ, двѣ бабочки, ярко-голубыя, точно крылатые васильки, весело кружились въ воздухѣ, какъ бы играя межъ собой. За ними Ліонель долго разсѣянно слѣдилъ глазами, невольно ими любясь—и вдругъ—*невозмутимое равнодушіе* природы впервые сказалось его душѣ и ужасомъ поразило его... „Ни чему ни до чего нѣтъ дѣла“, думалъ онъ, „что бы съ человѣкомъ ни случилось—птицы будутъ пѣть и цвѣты цвѣсти и бабочки не перестанутъ весело кружиться и солнце будетъ радостно свѣтить—оттого-то *они* и рѣшили, что при-

чина всему атомъ—не ждать же участія отъ атома!“ Онъ всталъ и медленными шагами направился въ тѣнистой, большой, липовой аллеѣ, которая прямо отъ воротъ сада вела къ дому. По ту сторону закрытыхъ воротъ онъ издали увидалъ человѣка, который, стоя у самой рѣшетки, дѣлалъ ему рукой какіе-то непонятные знаки—онъ ускорилъ шагъ—но вдругъ вздрогнулъ и остановился... передъ нимъ предстало одно изъ тѣхъ несчастныхъ созданій, въ которыхъ трудно даже услѣдить образъ человѣка: это былъ калѣка съ искривленными руками и искривленными ногами. Страшно выпученные глаза дико глядѣли, лицо было желтое—земляного цвѣта, какъ у мертвеца, и огромный ротъ, безобразно раскрываясь, выпускалъ какіе-то несвязные, странные звуки. Голова несчастнаго судорожно покачивалась со стороны въ сторону, въ рукахъ онъ держалъ корзину, наполненную прелестными бѣлыми розами и румяными яблоками—близость этой красоты и этой свѣжести какъ-то безжалостно оттѣняла безобразіе несчастнаго нищаго,—онъ продолжалъ крючковой рукой и искаженной улыбкой манить Ліонеля къ себѣ. Но мальчикъ, весь похолодѣвъ отъ ужаса, точно приросъ къ своему мѣсту—онъ не шевелился, испуганно глядѣлъ передъ собою—и вдругъ, со всѣхъ ногъ, пустился бѣжать назадъ къ дому и остановился только, когда вбѣжалъ на верхъ и очутился въ

своей комнатѣ—нервная дрожь пробирала его, и онъ не могъ въ себѣ пересилить чувство отвращенія и гадливости. „Такъ оно и должно быть, такъ оно и должно быть,“ отрывисто говорилъ онъ про себя— „вѣдь, атомъ все сотворилъ—понятно, ему все, все равно...“ Онъ закрылъ лицо руками, стараясь забыть ужасное лицо, которое сейчасъ видѣлъ—голова у него горѣла, кровь стучала въ виски: ему представился во всей наготѣ ужасъ земного, одного лишь земного бытія, и этотъ ужасъ подавлялъ его—трудъ, болѣзнь, и страданіе, затѣмъ—смерть, и съ нею—*конецъ*.... Значить, жизнь наша не что иное, какъ пытка, которая оканчивается, и для добрыхъ и для злыхъ,— казнью—на пытку насильно приводится человѣкъ, его терзаютъ, мучаютъ, а затѣмъ убиваютъ—и все это *такъ*, безъ причины, безъ цѣли.... И въ самомъ дѣлѣ, не *таковою* ли должна казаться жизнь, для всѣхъ тѣхъ, кто изъ нея вычеркнулъ Бога, или къ Нему относится, какъ къ неизвѣстной величинѣ. Ліонель всталъ и нервно началъ ходить по комнатѣ. „Какъ же это жестоко!“ съ негодованіемъ и волненіемъ думалъ онъ—„какъ низко!—заставляютъ насъ жить противъ нашей воли! Мы себѣ не просили этой жизни—зачѣмъ же она дана намъ?—еслибы была причина... но ея нѣтъ. Вотъ Рубенъ Дейль вѣрить, что есть причина, и потому находить, что все хорошо—но онъ

необразованный и ничего не знаетъ... Что бы нашелъ онъ сказать про этого нищаго? могъ бы онъ объяснить, *для чего его Богъ* создалъ такое ужасное твореніе?“ Тутъ, видно, какая-то мысль вдругъ прервала его размышленіе, онъ быстро вышелъ и спустился внизъ. Онъ обошелъ всѣ комнаты, тщательно стараясь разыскать епигу, о которой онъ вдругъ вспомнилъ—но ни въ кабинетѣ отца, ни въ гостиной, ни въ комнатѣ матери, этой книги не нашлось. Тогда, черезъ корридоръ, онъ прошелъ къ кухнѣ, и вызвалъ оттуда одну изъ горничныхъ, которая привѣтливѣе другихъ относилась къ нему.

— „Люси“, спросилъ онъ, „есть ли у васъ книга Новаго Заветъа, и можете ли вы одолжить мнѣ ее на нѣсколько минутъ?“

— „Съ удовольствіемъ, м-ръ Ліонель“, добродушно улыбаясь, сказала Люси, „я вамъ сейчасъ принесу книгу, которую я получила при выпускѣ изъ школы.“

Она ушла и скоро вернулась, бережно держа въ рукахъ книгу, завернутую въ тонкой бумагѣ.

— „Видите, какая она красивая“, сказала она, приподнявъ бумагу, „пожалуйста, милый, чернилами ее не закапайте и, когда отыщете, что вамъ надо, принесите назадъ“.

Поблагодаривъ Люси и обѣщавъ ей беречь книгу—Ліонель вернулся къ себѣ въ комнату. Онъ за-

крылъ за собою дверь, сѣлъ къ столу—сердце у него трепетно забилося—онъ раскрылъ книгу... и скоро нашель, чего искалъ—исторію исцѣленія десяти прокаженныхъ. Проказа, какъ было объяснено ему, была самая страшная изъ всѣхъ болѣзней—болѣзнь эта была и наслѣдственная, и прилипчивая—она искажала человѣка до потери человѣческаго образа... однако, Христосъ никогда не отворачивался отъ этихъ несчастныхъ страдальцевъ. Напротивъ, Онъ исцѣлялъ всѣхъ тѣхъ, которые приходили къ Нему, и отпускалъ ихъ отъ Себя уже радующимися... только однажды, когда десять прокаженныхъ очистилось, по слову Его, только одинъ изъ нихъ воздалъ хвалу своему Благодѣтелю...—Ліонель смутно чувствовалъ, что за простыми словами разсказа кроется что-то—*иное*, что-то глубокое, что его пониманію еще не доступно... Голова его разболѣлась, мысли какъ-то начали путаться—онъ тихо закрылъ книгу и глубоко вздохнулъ.—„Все въ ней такъ прекрасно“, сказалъ онъ про себя, „но не мнѣ читать ее... вѣдь, мой отецъ говорить, что все это неправда—и въ одной изъ моихъ книгъ, авторъ которой человѣкъ очень умный, сказано, что, всего вѣроятнѣе, Христа никогда и не было, Его придумали сами Петръ и Павелъ. Хоть бы знать, во что вѣрить—а въ ученыхъ аргументахъ ни одинъ человѣкъ не согласенъ съ

другимъ—все, все одна путаница, куда ни посмотришь“!

Онъ снова спустился внизъ, отыскалъ Люси и, поблагодаривъ ее, возвратилъ ей ея книгу.

— „Что, нашли, чего искали, м-ръ Ліонель?“ спросила она.

— „Нѣтъ, не совсѣмъ“—отвѣтилъ онъ и, запинаясь, не твердымъ голосомъ, прибавилъ: „Люси, знаете ли вы несчастнаго нищаго, который продаетъ розы и яблоки, онъ сейчасъ былъ тутъ за воротами—лицо у него такое страшное?..“

— „Да знаю его,—бѣдный!“ съ глубокою жалостью сказала дѣвушка. „Я часто его вижу—онъ блаженный, „дурачокъ“, но онъ не нищій. Хотя онъ болѣе чѣмъ слабоумный, сердце у него предоброе, и онъ, по своему, разумѣетъ, что худо, что хорошо—никому не хочетъ быть въ тягость. Непонятно, *какъ* онъ живетъ—видно, Самъ Господь хранить его... больше, вѣдь, некому...“

— „Самъ Господь хранить его... что могло бы это значить...?“

Ліонель вернулся къ себѣ грустный, задумчивый. Ему принесли обѣдъ въ его же комнату—пообѣдавъ, онъ сѣлъ за свои уроки. Онъ проработалъ, не отрываясь отъ книгъ, до тѣхъ поръ пока почувствовалъ, что у него потемнѣло въ глазахъ, и что голова

сильно закружилась. Опасаясь, что можетъ повториться съ нимъ обморокъ, онъ поспѣшно вышелъ въ садъ—тутъ онъ вспомнилъ, что уже больше 4-хъ часовъ, что въ этотъ часъ общала придти Жесмина. Онъ направился къ зеленой изгороди и тамъ терпѣливо прождалъ до 5-ти часовъ. Но не пришла милая дѣвочка... огорченный, разстроенный онъ вернулся домой. Люси принесла подносъ съ чаемъ, съ жалостью и состраданіемъ глядя на утомленное личико бѣднаго мальчика.

— „Знаете ли что, м-ръ Ліонель“—сказала она,—„на вашемъ мѣстѣ, я бы сегодня пораньше легла спать! Право! Видъ у васъ совсѣмъ, совсѣмъ измученный.“

— „Я хочу ждать маму“, отвѣтилъ Ліонель.

Видимо, Люси очень встревожило это его намѣреніе.

— „О! лучше бы вамъ этого не дѣлать!“ воскликнула она. „Вашъ папенька очень на васъ разсердится, когда узнаетъ! Вы знаете, что вы должны быть въ постели въ 9-ть часовъ, а маменька раньше 11-ти не вернется. Лучше ложитесь, будьте умница, а то всѣмъ намъ достанется!“

— „Хорошо“, сказалъ Ліонель равнодушно—„въ сущности все равно—ей, вѣдь, все равно.... Еслибы она“...—но тутъ, совершенно неожиданно для него самого, губы его задрожали, и онъ залился слезами...

Добрая Люси крѣпко, крѣпко обняла его.

— „Что съ вами, миленькій, что съ вами?“ шептала она, прижимая къ себѣ бѣднаго, рыдающаго ребенка. „Господи: да какъ вы дрожите! Голубчикъ, успокойтесь, не плачьте, не плачьте *такъ...* и все-то отъ этого ученья, никогда-то ни отдохнуть, ни позабавиться не дадутъ ребенку. До чего мнѣ жалко, что уѣхалъ м-ръ Монтрозъ!“

— „И мнѣ тоже,“ промолвилъ Ліонель сквозь слезы, „я очень его любилъ.“

Головка Ліонеля склонилась на плечо доброй Люси—близость ея состраданія дѣйствовала какъ-то успокоительно на бѣднаго мальчика, и мало-по-малу рѣже стали капать его слезы. Еще всхлипывая, онъ машинально началъ водить пальцемъ по брошкѣ Люси, и вдругъ улыбнулся—художественное произведеніе Коммортинскаго ювелира представляло сердце, пронзенное кинжаломъ, на которомъ было награвировано имя „Люси“.

— „Кто вамъ это подарилъ?“ спросилъ онъ.

— „Мой суженый“, ухмыляясь, отвѣтила она. „Кинжалъ—это я сама!.. Это значить, что я пронзила его сердце—не смѣшно ли!“

— „Очень, очень смѣшно“, сказалъ Ліонель и улыбнулся почти весело.

Люси разсмѣялась.

— „Вотъ, я это ему скажу! а онъ-то—какъ разсердится!... Ну, что, миленькій, оправились вы теперь немножко?“

— „О, да!“ и Ліонель обтеръ глаза объ ея передникъ и улыбнулся ей.

— „Вы были правы, Люси, я только немного усталъ—теперь все прошло, можно напиться чаю.“

Пока оставалась съ нимъ добрая Люси, онъ дѣлалъ видъ, что кушаетъ охотно, но какъ скоро она ушла, онъ, не допивъ чаю, всталъ изъ-за стола и вернулся къ своему излюбленному мѣсту, у окна, и, снова погрузившись въ свои невеселыя думы, просидѣлъ неподвижно, пока солнце скрылось и затеплились звѣзды на темномъ небѣ. Когда онъ закрывалъ свое окно, передъ тѣмъ чтобы ложиться спать, изъ сосѣдней рощи до него донесся жалобный крикъ совы. „Какой печальный это звукъ“ подумалъ онъ. „Быть можетъ, она, какъ я, недоумѣваетъ, для чего она создана—быть можетъ, и она тоже находитъ, что атомъ—безжалостный!“





Глава IX.

Не смотря на свою усталость, Ліонель въ эту ночь долго не могъ заснуть—что-то въ головѣ у него такъ странно и мѣрно билось, не давая ему покоя... и чудилось ему, что тамъ ходитъ точно маленькое мельничное колесо, которое непрерывно вращаясь, при каждомъ оборотѣ, выбрасываетъ частицы его же познаній—частицы исторіи, географіи, грамматики, латыни... и онъ принимался размышлять—къ чему же это—что изъ всего этого выйдетъ—соберутся ли когда эти частицы въ опредѣленное цѣлое?... Затѣмъ мысль его останавливалась на тѣхъ историческихъ событіяхъ, которыя болѣе другихъ запечатлѣлись въ его памяти; онъ вспоминалъ, сколько было перенесено страданій, мученій, пытокъ ради „вѣры“,—сколько людей за нее положили жизнь свою—„и все это совершенно напрасно,“ думалъ онъ, „теперь, вѣдь, весь ученый міръ дошелъ до полного отрицанія всякой

вѣры... и какъ, однако, глупо, что Ричардъ Львиное сердце такъ много суетился о Гробѣ Господнемъ — когда всѣми учеными теперь дознано, что Самъ Христосъ былъ не что иное, какъ „миѡъ,“ и что поэтому никакого Гроба Господня и быть не могло... и какой простодушный, даже невѣжественный король, былъ этотъ храбрый Ричардъ, со своею безпрестанной клятвой „*Par la splendeur de Dieu*“!*... видно, онъ даже и не подозрѣвалъ, что все сотворено бессмысленнымъ атомомъ, въ которомъ никакой „splendeur“ быть не можетъ. „...И мало-по-малу, незамѣтно для него самого: Ричардъ Львиное сердце, и *splendeur de Dieu*, и атомъ, и Жесмина Дейль, и частицы географіи, и некрасивое лицо профессора Кадмон-Гора, какъ-то странно превращенное въ ужасное лицо „деревенскаго дурачка“ — все это слилось и смѣсилось въ какую-то чудовищную путаницу.... Обороты колеса стали рѣже, медленнѣе... оно перестало молотъ... — и мальчикъ заснулъ тѣмъ тяжелымъ, мертвеннымъ сномъ, который наводитъ нравственное изнеможеніе. Онъ спалъ такъ крѣпко, что чей-то голосъ, звавшій его по имени: „Лиля! Лиля!“, прозвучалъ въ его сознаніи лишь тѣмъ тусклымъ, далекимъ звукомъ, которымъ звучатъ голоса въ сновидѣніяхъ — и разбудить его не

* „Во имя Божьяго Величія!“

могъ. Много разъ голосъ звалъ его — наконецъ, онъ очнулся и, протирая глаза, отяжелѣвшіе отъ сна, увидѣлъ съ невыразимымъ ужасомъ, что, наклонившись надъ самымъ его изголовьемъ, стоитъ — кто-то... Въ комнатѣ было темно, только одинъ косой лучъ мѣсяца тускло отражался на стѣнѣ — и, прежде нежели Ліонель успѣлъ, при помощи его, разглядѣть таинственного посѣтителя, нарушившаго его покой — чьи-то нѣжныя руки обвились вокругъ его шеи, чей-то нѣжный голосъ прошепталъ:

— „Лилия, мой Лилия! какъ же я тебя испугала! Дитя ты мое дорогое — развѣ ты не знаешь меня?...“

— „Мама!“ трепетно произнесъ мальчикъ, и въ порывѣ радости и удивленія вскочилъ съ постельки и бросился къ ней. „Милая, какая ты хорошая, что пришла ко мнѣ! Сказала-ли тебѣ Люси, что я не хотѣлъ ложиться до твоего возвращенія?“

— „Нѣтъ, Люси мнѣ ничего не говорила,“ отвѣтила м-съ Велискуртъ. „Бѣдный мой мальчикъ, какой же ты сталъ худенькій — однѣ косточки... не простудись, дитя ты мое дорогое, дай, я тебя покрою.“ И, прижимая его къ себѣ, она укутала его въ свою мѣховую мантилью, которую не успѣла съ себя сбросить, входя въ комнату. „Ну, теперь, милый, сиди смирно и внимательно выслушай меня.“

Лионель чувствовалъ себя неизъяснимо счастливымъ... онъ смутно сознавалъ, что было что-то загадочное въ этомъ странномъ ночномъ посѣщеніи, но это его не смущало—въ эту минуту радость его была совершенная...

— „Какой же ты маленький,“ замѣтила она, нѣжно улыбаясь. „Въ ночной рубашечкѣ ты точно еще бѣби,—тотъ самый крохотный бѣби, котораго я на рукахъ нянчила, которымъ такъ гордилась... Лиля,“—продолжала она, понижая голосъ и говоря отрывисто и торопливо: „я уѣзжаю, милый—на время... въ гости... съ однимъ другомъ, который хочетъ, чтобы я была счастлива... На мою долю, Лиля, выпало счастья немного... Твой отецъ—человѣкъ замѣчательнаго ума и замѣчательной добродѣтели... и въ томъ, и въ другомъ я ему не пара—оттого жить съ нимъ подъ-часъ бываетъ мнѣ очень ужъ тяжело... Онъ не хочетъ, чтобы я пѣла, чтобы я была весела, точно такъ, какъ не хочетъ, чтобы ты весело игралъ съ другими мальчиками... Но, ты еще маленький, тебѣ еще рано—жить полною жизнью—когда нибудь узнаешь, что *это* значить... еще узнаешь, въ свое время, что когда люди очень тоскуютъ и съ тоски готовы даже руки на себя наложить, доктора, чтобы спасти ихъ, настаиваютъ на перемѣнѣ впечатлѣній, на перемѣнѣ обстановки... видишь-ли, Лиля—вотъ *это* и нужно

теперь — мнѣ... добродѣтельные люди, какъ отецъ твой, въ перемены впечатлѣній никогда не нуждаются — но я не добродѣтельная... и я жажду, я..."

Онъ не далъ ей досказать, онъ встрепенулся точно ужаленная птичка, больно стало ему отъ послѣднихъ словъ ея.

— „О! мама, ты хорошая!“ воскликнулъ онъ.

— „Нѣтъ, нѣтъ, Лиля,—я хочу, чтобы ты зналъ, что ничего хорошаго во мнѣ нѣтъ... я дурная, безсердечная, пустая женщина... я никого не люблю... да, да, никого!... даже свое дитя родное, никогда не любила и любить не буду..."

Голосъ ея задрожалъ — и оборвался... она прильнула къ нему и, осыпая его жгучими, страстными поцѣлуями, крѣпко, судорожно прижимала къ себѣ... Въ эту самую минуту, мѣсяцъ выплылъ изъ-за тучъ и вдругъ освѣтилъ ее. Ліонель увидѣлъ, какъ страшно она была блѣдна, какъ дико глядѣли большіе глаза ея — онъ не смѣлъ пошевелинуться, не смѣлъ выговорить слова — онъ чувствовалъ, что что-то ужасное должно совершиться, его сердце порывисто забилося, и онъ весь задрожалъ.

— „Холодно тебѣ, мой родной?“ тихо спросила она, все не выпуская его изъ своихъ объятій. Она снова стала прикрывать его полою своей мѣховой мантили и нѣжнымъ голосомъ приговаривала: „вотъ

такъ, вотъ такъ, моя крошка, такъ будетъ лучше, будетъ хорошо.... А теперь, дай мнѣ докончить. Ты знаешь, Лиля, когда ты былъ маленькій, ты былъ совсѣмъ мой — оттого тогда жилось мнѣ радостно. Сама-то я была почти что ребенокъ, когда ты родился — всѣ мечты мои были радужныя — такія свѣтлыя! И какъ я мечтала любила о будущности своего бэби! И бэби мой былъ такой прелестный — пухленькій, розовенькій, веселый, превеселый! Какъ я гордилась имъ, какъ всѣхъ ревновала къ нему! Ничья рука, кромѣ моей, не прикасалась къ нему — я и мысли допустить не могла, чтобы наемная, чужая женщина ходила за моимъ мальчикомъ... Вотъ, когда началъ ты говорить, я рѣшила, что долго, долго не буду ничему учить тебя, что подожду, пока ты совсѣмъ подростешь, совсѣмъ окрѣпнешь — мнѣ самой хотѣлось веселиться и радоваться — хотѣлось, чтобы и мой мальчикъ весь день рѣзвился и игралъ. Но отецъ твой рѣшилъ иначе: мнѣ веселиться онъ запретилъ, изъ тебя — задумалъ сдѣлать ученаго.... И такъ, мало-по-малу, отняли у меня моего ребенка... Сначала, я по немъ тосковала; мучилась, видя, какъ онъ, изо дня въ день, становится все блѣднѣе и грустнѣе — а затѣмъ я поняла, что измѣнить я ничего не могу, и — мнѣ стало все равно... а вотъ теперь я уже совсѣмъ равнодушна, потому что ты выросъ большой, Лиля, и я сознаю, что я тебѣ

совсѣмъ не нужна. Всякое мое внимательство въ дѣло твоего воспитанія только раздражаетъ твоего отца — здѣсь я чувствую себя лишней и оттого рѣшилась уѣхать.... въ гости — хочу хоть не много развлечь себя... И сегодня я бы уже не возвращалась домой, но.... не могла же я не проститься со своимъ мальчикомъ! О нѣтъ! это было бы выше моихъ силъ!“... Снова голосъ ея оборвался и слезы, крупные, жгучія слезы, одна за другой, закапали изъ ея лучистыхъ глазъ на кудрявую головку Ліонеля.

— „Мама, милая, неужели ты уѣдешь теперь, ночью!“ жалобно промолвилъ онъ. „Мама, развѣ ты ѣхать непременно должна?“

— „Да, должна,“ какъ-то томно улыбаясь сквозь слезы отвѣтила она. „Я хочу хоть разъ въ своей жизни испытать, что такое счастье — и будетъ оно — мое! Я хочу, какъ ты въ тотъ разъ, Лиля, устроить себѣ праздникъ — долгій, свѣтлый день, безъ уроковъ и безъ наставниковъ!“

— „О! мама, возьми же и меня съ собой! Я такъ люблю тебя!“

— „Ты такъ любишь меня?... и за что, бѣдный мой мальчикъ? Меня любить не надо, Лиля!... Завтра отецъ твой объяснитъ тебѣ, почему....“

Съ минуту она помолчала, и вынувъ изъ кармана маленькій свертокъ, продолжала тихимъ голосомъ:

— „Лиля, вотъ это, я хочу, чтобы ты сберегъ— пока... пока—я вернусь... это единственно, что осталось у меня на память отъ моего баби. Я уже сказывала тебѣ, что я очень гордилась своимъ мальчикомъ—вотъ, казалось мнѣ, что во всемъ Лондонѣ, не найти ленты достаточно изящной, чтобы сдѣлать кушакъ на его бѣлыя платяца, и я заказала эту ленту во Франціи по особому рисунку,—видишь, она свѣтло-голубая, а по голубому полю вьются вѣтки бѣлаго жасмина. Я положу ее къ тебѣ подъ подушку, а завтра поутру ты спрячь ее, чтобъ отецъ твой ее не увидалъ. Не хочу ее брать съ собою туда, куда я ѣду... мнѣ было бы больно смотрѣть на нее—тамъ...”

Она вздрогнула... и еще крѣпче прижала его къ себѣ и, взявъ его на руки, точно былъ онъ снова тотъ баби, котораго только что поминала, она бережно приподняла его и положила назадъ въ его кроватку, нѣжно приговаривая:

— „Ложись, моя крошка, ложись въ мягкое, пуховое гнѣздышко!”

Съ томительной тоской, какъ-то жадно глядѣла она на его блѣдное личико, которое при лунномъ свѣтѣ казалось еще блѣднѣе, и вдругъ трепетно промолвила:

— „Что это такое? О! Лиля, Лиля, ты теперьходишь на мертвое дитя... Мое сокровище—мое мертвое дитя!”

И громко зарыдавъ, она упала на колѣни... Долго, долго она такъ рыдала, точно надрывалось ея сердце... Чуткая душа Ліонеля вся изстрадалась... и казалось ему, что во сто разъ легче было ему сейчасъ умереть, нежели дальше видѣть такое страданіе...

— „Не плачь, мама. О! не плачь такъ — милая!“ наконецъ чуть слышно промолвилъ онъ дрожащимъ, умоляющимъ голосомъ.

Она быстро приподняла голову, торопливо утерла слезы, и нервно засмѣялась.

— „Не буду, не буду, милый,“ сказала она, „сама не понимаю, чего это я расплакалась—я вѣдь счастлива, совсѣмъ, совсѣмъ счастлива! У меня будетъ праздникъ, чудный праздникъ—а тамъ—что бы ни случилось, мнѣ все равно! Прежде я бы этого не сказала, но меня научили другому—и теперь, все на свѣтѣ мнѣ ни почемъ!...“

Привычнымъ, кокетливымъ движеніемъ она оправила бархатную шапочку, которая сбилась съ выходящихъ волосъ ея. Что-то зловѣщее блеснуло въ чарующихъ глазахъ ея—и Ліонель, взглянувъ на нее, инстинктивно понялъ, что надо ее спасти отъ какого-то, ему невѣдомаго, зла...

— „Не уѣзжай, мама—останься хоть до завтра, не покидай меня,“ умолялъ онъ, протягивая къ ней свои исхудалыя ручки.

— „Милый, если было бы у меня сердце, я бы тебя не покинула... но нѣтъ его!... Пойми—ни клочечка отъ него не осталось! Помни это и не жалѣй меня. Легче живется тѣмъ, у кого сердца нѣтъ. А когда-то было оно у меня... сердце пылкое, горячее, доброе—полное нѣжности, любви и *отры*... да, вѣры, Лиля. Было время, когда мама твоя была до того глупа, и такъ мало развита, что вѣрила—въ Бога! Ты знаешь, до чего отецъ твой негодуешь на тѣхъ, кто въ Бога вѣрить—онъ скоро отучилъ меня отъ этой нелѣпости,—а въ замѣнъ—онъ ничего не далъ мнѣ!... Страшно подумать, во что жизнь превращается, когда нѣтъ въ ней ни цѣли, ни надежды, когда единственнымъ двигателемъ является—*приличіе*. Но довольно,—бѣдный мальчикъ, ты понять меня не можешь,—я заговорила съ тобой, какъ съ взрослымъ, а ты еще малое дитя... Пора. Прощай же, милый. Люби меня сегодня, люби до завтрашняго утра—мнѣ отраднo будетъ думать, что ты еще любишь меня. Прощай!“

Онъ обѣими руками ухватилъ ее за шею, жалобно повторяя:

— „Милая, родная, не уѣзжай!“

— „Не могу, Лиля—я бы сошла съ ума, еслибы теперь осталась, я до того устала—устала до смерти!...
Мое сокровище, моя крошка дорогая, мой мальчикъ,

не удерживай ты меня, забудь меня... не могу я больше терпѣть!..."

И какъ-то грубо она отъ себя его оттолкнула. Съ недоумѣніемъ онъ грустно посмотрѣлъ на нее и спросилъ:

— „Отчего ты разсердилась, мама, развѣ я сдѣлалъ тебѣ больно?“

— „Да, да, ты мнѣ сдѣлалъ больно,“ — и чудные ея глаза, сіяя какъ звѣзды въ полу-мракѣ, точно улынулись ему, — „твои пальчики нечаянно дернули меня за волосы, а мнѣ почулось, что они сердце мое сжали до боли... Только сердца-то у меня, вѣдь, нѣтъ... Чу! что это!“

Послышался стукъ колесъ подъѣзжавшаго экипажа, — она вслушивалась въ него, и какое-то трепетное ожиданіе выражалось на ея лицѣ.

— „Ты читалъ о французской революціи, Ліля? Конечно, читалъ, чего-то ты не знаешь, бѣдный мальчикъ... ну, помнишь, какъ посылали за приговоренными къ смерти, чтобы везти ихъ на казнь — вотъ такъ-то теперь посылаютъ за мной — и я иду на казнь, — но иду добровольно, не по принужденію!“

— „Нѣтъ, не пойдешь, не пойдешь, я не пущу тебя!“ въ ужасѣ и изступленіи закричалъ Ліонель, вскакивая съ постели.

Мгновенно красивое лицо ея точно преобразилось — тѣнь чего-то недобраго пробѣжала по немъ.

— „Дерзкій мальчикъ,“ сказала она рѣзко и холодно, — „ложись сейчасъ и спи, — а то буду жалѣть, что пришла проститься съ тобой.“

Онъ тихо отъ нея отвернулся и спряталъ лицо свое въ подушки, чтобы не видѣть выраженія этихъ удивительныхъ глазъ, въ которыхъ была сокрыта цѣлая бездна и нѣжности, и злобы — и сразу вернулось давно ему знакомое удручающее сознаніе, что для нея онъ былъ меньше, чѣмъ — ничего...

— „Лилия, я не хотѣла обидѣть тебя,“ тихо сказала она, наклонясь надъ нимъ и нѣжно проводя рукой по его волосамъ. „Прости меня! Поцѣлуй меня, милый!“

Онъ молча обнялъ ее.

— „Лилия, если было бы у меня сердце, оно теперь бы разбилось...“ шопотомъ проговорила она. „Прощай, мое дитя! прощай, мой бѣби! Люби меня до завтра!...“

Она отъ него вырвалась, и прежде нежели онъ успѣлъ опомниться — исчезла... Съ минуту онъ лежалъ, не шевелясь, притаивъ дыханіе, затѣмъ вскочилъ, и босой, въ одной рубашкѣ бросился къ выходу: — на верхней площадкѣ лѣстницы онъ остановился, испуганно озираясь кругомъ: вездѣ было темно, все было тихо.

— „Мама!“ сталъ звать онъ вполголоса.

Дверь гдѣ-то скрипнула и затѣмъ закрылась...

— „Мама!“

Отвѣта не было. Онъ стоялъ неподвижно, при-
слушиваясь къ каждому звуку съ болѣзненнымъ,
нервнымъ напряженіемъ:—вдругъ до него явственно
донесся стукъ колесъ, быстро удалявшихся по на-
правленію Коммортина—мигомъ онъ бросился назадъ
въ свою комнату, широко распахнулъ окно и вы-
сунулся изъ него. Мѣсяцъ высоко стоялъ на небѣ,—
было видно почти, какъ днемъ,—каждый пред-
метъ выступалъ рѣзко обрисованный,—но нигдѣ не
было и слѣда живой души... Онъ поднялъ глаза къ
ясному небу. Прямо противъ него, не тускнѣя отъ
яркаго свѣта мѣсяца, одна чудная звѣзда свѣтло го-
рѣла—точно лампада, зажженная въ какомъ-то не-
бесномъ храмѣ. Совы жалобно между собою перекли-
кались; летучія мыши—неслышно носились между
вѣтвями деревьевъ—верхушки ихъ чуть-чуть начи-
нали колыхаться отъ набѣгавшаго съ моря вѣтерка.—
Какимъ-то могильнымъ холодомъ обдало душу бѣднаго
ребенка... и снова отчаянный, жалобный вопль вы-
рвался у него.—

— „Мама! О, моя мама!...“

Слезы неудержимо хлынули у него изъ глазъ—
онъ ощупью добрался до своей кровати, бросился
на нее, громко рыдая, и, рыдая, наконецъ, заснулъ.



Глава X.

На другое утро Ліонель всталъ въ свое время — онъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго и еще молчаливѣе, но онъ такъ привыкъ таить въ себѣ всѣ ощущенія свои, что и теперь не было у него ни потребности, ни желанія кому нибудь повѣдать, что перестрадалъ онъ въ эту тяжкую ночь. Тутъ вошла къ нему Люси, и, поставивъ передъ нимъ подносъ съ чаемъ, какъ-то торопливо проговорила:

— „Ваша маменька вчера ночью вернулась домой и ночью же снова уѣхала — м-ръ Ліонель, что вы объ этомъ скажете?“

Онъ лишь отвѣтилъ усталымъ голосомъ:

— „Ничего не скажу. Что мнѣ говорить? Это до меня не касается.“

Люси недоумѣвала — сказать ли ему *то*, что всѣ въ домѣ вѣрно подозрѣвали, о чемъ уже судила

и рѣдила вся деревня? „Нѣтъ, не могу...“ рѣшила она про себя — „не могу огорчать его. Да, пожалуй, онъ и не пойметъ—бѣдняжка, уроки свои ему еще надо доучивать, это только смутить его—къ тому же—не долго оставаться ему въ невѣдѣніи...

— „Я полагаю,“ сказала она,—„что вашъ папенька и профессоръ вернутся съ первымъ Линтонскимъ дилижансомъ.“

— „Да, вѣроятно“, равнодушно отвѣтилъ Ліонель.

— „Я терпѣть не могу Линтона!“ продолжала Люси, „по моему, это—противная, сырая деревушка, ни малѣйшихъ въ ней удобствъ. И чего ею такъ восхищаются, понять не могу!“

Она остановилась, и вдругъ прибавила, безсознательно поддаваясь тому, чѣмъ было поглощено все ея вниманіе:

— „А ваша маменька, вѣдь, оставила папенькѣ письмо—оно лежитъ на письменномъ столѣ у него въ кабинетѣ.“

Ліонель промолчалъ, дѣлая видъ, что очень занятъ своимъ завтракомъ. Люси, постоявъ съ минуту, поняла, что мальчикъ не расположенъ къ разговору, и вышла изъ комнаты.

Дѣйствительно, въ эту минуту даже присутствіе доброй Люси было ему въ тягость—ему хотѣлось

остаться одному съ тѣми мыслями, въ которыхъ онъ не успѣлъ еще разобраться. Таинственное ночное посѣщеніе матери, ея странныя слова, ея слезы, страстные поцѣлуи—все это, теперь, при дневномъ свѣтѣ, точно отошло въ область сновъ и видѣній... и если бы не голубая лента, спрятанная подъ его подушкой, онъ не могъ бы повѣрить въ дѣйствительность того, что, съ такою болью, припоминалось ему.... Онъ смутно предчувствовалъ, что въ разгадкѣ тайны этой страшной ночи сокрыто что-то ужасное... и это что-то влечетъ съ собою неминуемое для него горе; онъ боялся себѣ выяснить—*какое именно* это могло быть горе.... Чтобы отвлечь мысль отъ самого себя, онъ съ какимъ-то остервенѣніемъ ухватился за свои занятія. Писалъ, переводилъ, углублялся въ рѣшеніе самыхъ трудныхъ математическихъ задачъ, доводя свой дѣтскій умъ до крайнихъ предѣловъ болѣзненнаго напряженія—пока не затрубила знакомая ему труба Линтонскаго дилижанса. Изъ своего окна онъ видѣлъ, какъ дилижансъ, грузно покачиваясь со стороны въ сторону, подкатилъ къ Коммортинскому постоялому двору, и какъ вышли изъ него м-ръ Велискуртъ и профессоръ. Съ нихъ Ліонель не сводилъ глазъ: вотъ подошли они оба къ воротамъ, вошли въ садъ—подходятъ все ближе и ближе—сейчасъ войдутъ въ домъ... и съ замира-

ніемъ сердца онъ вдругъ *понялъ*—что *минута настала*—что сейчасъ онъ долженъ *все* узнать.... Раздался неистовый звонокъ у подъѣзда—Ліонель вздрогнулъ и ждалъ... затѣмъ раздался голосъ его отца.

— „Ліонель, Ліонель!“ кричалъ онъ, задыхаясь отъ бѣшенства. „Куда дѣвался этотъ мальчишка, сбѣжалъ какъ бродяга—а мать его сбѣжала какъ....“

Онъ не успѣлъ докончить начатую фразу. Ліонель уже стоялъ передъ нимъ.

— „Я здѣсь“, проговорилъ онъ голосомъ, дрожащимъ отъ страха—онъ былъ убѣжденъ, что отецъ его внезапно лишился разсудка.... Багровѣя отъ бѣшенства, м-ръ Велискуртъ такъ страшно скалилъ зубы, такъ звѣрски тарачилъ глаза, что наводилъ непритворный ужасъ на маленькаго своего сына, при видѣ котораго лицо его приняло еще болѣе звѣрское выраженіе. Злобно сдвинувъ брови, онъ произнесъ хриплымъ голосомъ:

— „О, вы здѣсь! Видѣли вы“—тутъ онъ остановился, съ трудомъ переводя дыханіе...—„видѣли вы вчера свою мать?“

— „Да“ чуть слышно отвѣчалъ мальчикъ, „я ее видѣлъ нынче ночью. Я уже спалъ, когда она ко мнѣ пришла, она меня разбудила и простилась со мною.“

— „Простилась, и только?... что тамъ еще происходило между вами?... Ну, скорѣе договаривайте“, кричалъ въ изступленіи м-ръ Велискуртъ.

— „Она еще сказала,“ продолжалъ Ліонель, „что ѣдетъ въ гости съ другомъ, который сдѣлаетъ ее счастливой“—у м-ра Велискурта тутъ вырвалось страшное проклятіе, а профессоръ громко закашлялъ, чтобы немного заглушить его,—„и—и она сказала, что теперь она очень несчастна—что ей нужно развлечься. Еще она сказала, что не долго тамъ останется, и много, много плакала, и меня цѣловала.... О! скажите мнѣ, пожалуйста, скажите, что же случилось—что все это значить?..“

Голова его закружилась, онъ пошатнулся и чуть не упалъ.

— „Да, я скажу вамъ!“ съ новымъ приливомъ бѣшенства, воскликнулъ м-ръ Велискуртъ. „Я вамъ выскажу истину—она же говорила одну ложь! Ваша мать презрѣнное созданіе!.. Ваша мать—низкая тварь,—развратная женщина!.. она опозорила и меня и васъ! Понимаете ли вы, что значить, когда женщина покидаетъ своего мужа и, какъ воръ подъ прикрытіемъ ночи, бѣжитъ съ другимъ человѣкомъ? Знайте же! это сдѣлала ваша мать... „Другъ“, который даетъ ей счастье—господинъ Лассель, подлецъ и баловень высшаго общества—съ нимъ она ушла и

никогда больше не вернется. Никогда не вспоминайте о ней, никогда не произносите ея имя! Запомните! съ этого дня, у васъ нѣтъ больше матери!..“

Ліонель приподнялъ вверхъ свои маленькія, дрожащія руки, точно ими хотѣлъ себя заслонить отъ невидимыхъ ударовъ,—сердце его порывисто билось, на мгновеніе взглядъ его безпомощно остановился на профессорѣ Кадмон-Горѣ, и ему показалось, что суровое лице ученаго выражало нѣчто похожее на состраданіе—онъ хотѣлъ что-то выговорить, но не могъ—передъ нимъ и вокругъ него все подернулось туманомъ—только съ ужасающей ясностью выступало страшное лицо отца и страшный смыслъ словъ его.

— „Вамъ извѣстно, что значить опозоренная жизнь,“ продолжалъ м-ръ Велискуртъ, „хотя вы еще очень молоды, вы уже знаете изъ исторіи, что были женщины, которыя рѣшались умереть, лишь бы не быть опозоренными. Не такова ваша мать! Она не скрываетъ своего позора, она имъ гордится! Въ былыя времена ее привязали бы къ позорному столбу, или плетью засѣли бы.“ Произнося эти слова, онъ поднялъ правую руку, какъ будто держалъ въ ней невидимый бичъ, которымъ хотѣлъ карать свою преступную жену. „Когда вы станете взрослымъ чело-вѣкомъ, вы краснѣть будете при одномъ воспомина-ніи о вашей матери—она негодная, она...

Но тутъ Ліонель, ухватясь за его руку, раздирающимъ голосомъ закричалъ:

— „О, довольно, довольно! Не могу, не могу больше это слышать!.. Я люблю ее! Да, люблю—и перестать ее любить не могу!.. Она цѣловала меня, она меня обнимала—и было это такъ недавно... Забыть это не могу, право не могу! Я люблю ее! Мама, моя мама!“

Онъ смутно видѣлъ, какой ненавистью загорѣлись устремленные на него глаза его отца, смутно слышалъ, какъ профессоръ укоризненно произнесъ:

— „Довольно съ него—оставьте же ребенка...“

И вдругъ ему показалось, что обликъ его отца растеть,—принимаетъ сверхъестественные размѣры, и охватило его непреодолимое желаніе — бѣжать — куда? онъ самъ не зналъ,—ему было все равно — только бы уйти—уйти скорѣе... и онъ пустился бѣжать... выбѣжалъ изъ дома, добѣжалъ до Коммортина и тамъ, какъ безумный бѣжалъ прямо по улицѣ, пока не повстрѣчалась ему знакомая миссъ Кларинда Пейнъ, которую онъ не видалъ съ самаго отъѣзда Монтроза—онъ бросился къ ней и громко закричалъ:

— „О, миссъ Пейнъ, вѣдь, это неправда! О, скажите же мнѣ!... это не можетъ быть правда... Моя мама не навсегда уѣхала? О, нѣтъ, нѣтъ — она меня любить, я вѣдь это знаю! Она бы меня не бросила...“

скажите мнѣ, милая, милая миссъ Пейнъ, вы, вѣдь, не думаете, что она—нехорошая?...“

Миссъ Пейнъ взглянула на него, и мгновенно ея женская душа постигла всю муку души бѣднаго ребенка,—ужась его сомнѣній, его скорби, его полное одиночество... вмѣсто отвѣта, она широко раскрыла свои объятія—но Ліонель отвѣта ждалъ—и, содрогаясь отъ ужаса, онъ теперь прочелъ его въ безконечной жалости ея печальныхъ глазъ... жизнь въ немъ точно остановилась... казалось ему, что небо, землю, далекое море, все, вдругъ поглотила темная бездна, что сейчасъ поглотить она и его... онъ хотѣлъ ринуться впередъ—и безъ чувствъ упалъ у ногъ Кларинды Пейнъ.





Глава XI.

„Лучше увезите его на нѣсколько дней,“ говорилъ м-ръ Гартлей, веселый, благодушный деревенскій докторъ, одной рукой щупая слабый пульсъ Ліонеля, а въ другой держа часы. „Необходимо перемѣнить всю обстановку—какъ нибудь развлечь его. У него было нѣчто въ родѣ нервнаго удара,—да—да—весьма прискорбно!—я узналъ уже въ деревнѣ... какъ это ужасно!—къ несчастію, эти семейныя драмы теперь не рѣдко случаются... Можно себѣ представить, до чего вы удручены!...“

Эти отрывистыя рѣчи были обращены къ м-ру Велискурту, который, то блѣднѣя, то краснѣя, подъ давленіемъ различныхъ ощущеній, не могъ совладѣть съ собою, и не скрывалъ, до какого изступленія доведенъ и постыднымъ поведеніемъ жены, и неожиданной болѣзнію сына.—Ліонеля, въ полномъ безчувствен-

номъ состояніи, принесла на рукахъ какая-то простая женщина,—особа эта, въ деревнѣ торговавшая молокомъ и яйцами, торжественно называла себя—Кларинда Клеверли Пейнъ,—изумительно, до чего доходить глупость Девонширскаго простолюдыя!—и... эта-то особа имѣла нахальство выразить свое соболѣзнованіе ему—*ему* Джону Велискурту!—и она осмѣлилась, говоря о *ею* сынѣ, сказать, да еще въ присутствіи прислуги:

— „Помоги, Господи, бѣдной, осиротѣлой птицкѣ!“

Эта выходка особы, называвшей себя Кларинда Клеверли Пейнъ, была столь дерзка, что тотчасъ по уходѣ ея, м-ръ Велискуртъ распорядился, чтобы больше никогда не пускали ее на порогъ его дома. Затѣмъ онъ распорядился послать за главнымъ докторомъ Коммортина. Докторъ немедленно прибылъ, и вскорѣ привелъ Ліонеля въ чувство. Теперь мальчикъ лежалъ съ полу-открытыми глазами; дышалъ онъ еще неровно и, видимо, какъ-то болѣзненно сился припомнить, что именно случилось съ нимъ...

— „Да,“ задумчиво произнесъ докторъ, осторожно приподнимая вѣки Ліонеля, и заглядывая ему въ зрачки— „да, я совѣтовалъ бы вамъ уѣхать скорѣе—какъ только будетъ для васъ удобно...“

— „Удобно!“ не давая ему докончить, съ раздраженіемъ воскликнулъ м-ръ Велискуртъ,— „никогда

это удобно не может быть! Я нигуда везти его не намѣренъ—у меня у самого дѣла много, и это разстроило бы весь ходъ его уроковъ!”

— „Вотъ какъ...” и д-ръ Гартлей пристально посмотрѣлъ на него. „Что же,—рѣшайте, какъ знаете — но я обязанъ, какъ докторъ, предупредить васъ, что если мальчика теперь же не удалить отсюда, и не позаботиться о перемѣнѣ его впечатлѣній, ему грозитъ воспаленіе мозга—и, по крайнему моему убѣжденію, этой болѣзни ему не перенести. Объ урокахъ не можетъ быть и рѣчи!”

Докторъ положилъ свою большую, нѣжную руку на блѣдный лобикъ мальчика, и ласково пригладилъ спустившіеся на него спутанные кудри. М-ръ Велискуртъ нахмурился. Онъ внезапно почувствовалъ отвращеніе къ д-ру Гартлею. Не нравилось ему выраженіе его пронизательныхъ, голубыхъ глазъ, которые такъ безстрашно и прямо на него глядѣли. Онъ какъ-то торжественно откашливался, и холодно произнесъ:

— „Попробую убѣдить профессора Кадмон-Гора сопровождать моего сына, если вы находите, что подобное передвиженіе необходимо.”

— „Безусловно необходимо,” отвѣтилъ докторъ, поднося ложку съ микстурой къ губамъ мальчика,— „вести его далеко не для чего, теперь надо избѣгать

всякаго переутомленія. Вотъ въ „Клеверли“ было бы ему хорошо—пусть ѣдетъ онъ туда со своимъ воспитателемъ—тамъ будетъ и тихо, и привольно. Чѣмъ скорѣе вы его отправите, тѣмъ лучше. Можно бы даже сегодня это устроить. Вамъ самимъ ѣхать съ нимъ, вѣдь, нельзя?“

— „Невозможно“, съ трудомъ скрывая свое негодованіе, отвѣтилъ м-ръ Велискуртъ—„я долженъ ѣхать по дѣламъ въ городъ, мнѣ надо видѣть своихъ повѣренныхъ.“

— „Ахъ, да—понимаю,“ и докторъ кивнулъ головою, „ну, такъ пусть же ѣдетъ воспитатель. А гдѣ онъ находится? Мнѣ надо съ нимъ переговорить.“

— „Профессоръ Кадмон-Горъ,“ съ напыщеннымъ достоинствомъ сказалъ м-ръ Велискуртъ—„теперь въ классной комнатѣ—если вамъ угодно, я васъ провожу къ нему.“

— „Погодите минутку.“ Докторъ окинулъ взоромъ маленькую душную комнату Ліонеля и поспѣшно открылъ настежь окна.—„Свѣжій, чистый воздухъ, хорошее питаніе, полнѣйшій отдыхъ—вотъ, что теперь нужно мальчику!“ сказалъ онъ, „развлекать его надо, а оставлять одного нельзя... Пришлите сюда къ нему хоть кого-нибудь изъ прислуги.“

— „Пришлите Люси,“ послышался съ кровати слабенькій голосокъ Ліонеля.

— „Что такое, молодецъ?“ переспросилъ докторъ, нагибаясь къ нему, „кого прислать?“

— „Люси“ повторилъ Ліонель, — „она добрая, и я ее люблю.“

Д-ръ Гартлей улыбнулся.

— „Ладно! получите Люси! желанная особа не замедлитъ явиться къ вамъ! Ну, а какъ вы теперь себя чувствуете, голубчикъ?“

— „Гораздо лучше, благодарю васъ,“ и дѣйствительно кроткіе глаза его выражали глубокую благодарность — „но я забыть — еще не могу... мнѣ забыть не легко...“

На это докторъ ничего не отвѣтилъ, а только съ какой-то особенной нѣжностью оправилъ подушки подъ головой маленькаго больного. Когда Люси неслышно вкралась въ комнату, чтобы, слѣдуя предписанію доктора, посидѣть у постели Ліонеля, Ліонель лежалъ съ закрытыми глазами, двѣ крупныя слезы дрожали на длинныхъ его рѣсницахъ, но, по мѣрному его дыханію было видно, что онъ заснулъ... Такое скорбное было выраженіе этого дѣтскаго личика, что, при видѣ его, добрая Люси залилась слезами. Долго она тихо плакала.

— „И какъ могла *она*, какъ могла бросить эту милую крошку?“ съ содроганіемъ спрашивала она себя. „Уйти отъ *него*, (разумѣя м-ра Велискурта) это

понятно, хотя тоже не хорошо,—но бросить свое родное дитя—это грѣхъ! какъ могла она?!”

Жалкая, простодушная Люси! Видно, не довелось ей читать произведеній Ибсена, и не была она ознакомлена съ новѣйшими воззрѣніями на законы нравственности! Если-бы она была воспитана современною этикой, она-бы назвала поступокъ м-съ Велискуртъ—благороднымъ протестомъ противъ ограниченія свободы, и видѣла-бы въ немъ законное удовлетвореніе потребности наслажденія... Но Люси была простая, неученая дѣвушка, съ женскимъ любящимъ сердцемъ—и вѣрила она въ святость материнской любви, какъ вѣрили въ нее въ старину—въ до-Ибсеновскія времена.

Между тѣмъ, д-ръ Гартлей имѣлъ честь быть представленнымъ самому профессору Горю,—что, видимо, не особенно поразило его—онъ даже возымѣлъ смѣлость выразить желаніе бесѣдовать наединѣ съ знаменитымъ ученымъ,—т. е. не въ присутствіи м-ра Велискурта—на что, озадаченный и раздраженный, м-ръ Велискуртъ согласился весьма не охотно. Послѣ 20-минутнаго совѣщанія, докторъ уѣхалъ.—

Ліонель продолжалъ спать. Въ 3 часа Люси разбудила его, чтобы дать ему выпить чашку бульона. Бульонъ Ліонелю показался особенно вкусенъ, и

Люси, обрадованная его аппетитомъ, вступила съ нимъ въ разговоръ.

— „Что вы думаете, мистеръ Ліонель?“ начала она, „вѣдь, блаженный, „дурачокъ,“ котораго вы видѣли вчера, принесъ вамъ множество цвѣтовъ: смотрите!“ и она поднесла къ его постели огромный пучокъ прелестныхъ розъ—красныхъ, розовыхъ и бѣлыхъ. „Мы сначала разобрать не могли, чего онъ хочетъ, но потомъ догадались, столько разъ онъ повторялъ:—„для маленькаго мальчика, маленькаго мальчика.“ Чтобы сдѣлать удовольствіе бѣднягѣ, мы взяли цвѣты и отнесли въ вашу комнату—денегъ онъ ни за что не взялъ. Онъ видѣлъ, какъ васъ на рукахъ несла м-съ Пейнъ, и вообразилъ, что вы скончались!“

— „Неужели?“ задумчиво проговорилъ Ліонель. „И оттого онъ принесъ свои цвѣты!... бѣдный! страшное у него лицо,—но видно, онъ добрый—не виноватъ-же онъ, что такая у него наружность?...“

— „Конечно, не виноватъ,“ согласилась Люси. „Господу все одно, какая ни есть у насъ наружность,—Онъ заботу имѣетъ о томъ, что внутри насъ“.

Глубокою грустью затуманились глаза ребенка—онъ вспомнилъ о своей матери... Богъ ли теперь о ней заботится—или есть только Атомъ, для котораго все одинаково безразлично, и смерть, и грѣхъ, и

горе?.. О! еслибы могъ онъ знать навѣрное, что причина всего есть Богъ—Богъ, всесильный, всевѣдущій, всепрощающій, любящій и милосердый, какъ бы онъ Ему молился за свою бѣдную, погибшую, красавицу—маму, какъ просилъ бы Его спасти ее, и возвратить ему!.. Онъ не могъ, однако, сосредоточиться на этихъ своихъ размышленіяхъ—Люси мѣшала ему: она страшно вокругъ него суетилась, собирала его вещи, укладывала ихъ въ маленькій чемоданъ—затѣмъ его заставила встать, хотя онъ едва могъ держаться на ногахъ, одѣла его, и, къ великому его удивленію, принесла ему пальто и шляпу—въ эту же самую минуту, у дверей комнаты показался самъ профессоръ Кадмон-Горъ. Къ изумленію Ліонеля, онъ также былъ въ пальто, и въ рукахъ держалъ свою широкую, дорожную шляпу, но всего изумительнѣе была та добрая, ласковая улыбка, которая освѣщала морщинистое лицо ученаго, производя новыя, еще небывалыя, морщины вокругъ его широкаго рта.

— „Ну! воскликнулъ онъ ободряющимъ голосомъ. „Что же, лучше теперь?“

— „Да, благодарю васъ,“ тихо отвѣтилъ Ліонель, „только голова еще немного кружится.“

— „Это пустяки! Это скоро пройдетъ!“ Улыбаясь во весь ротъ, съ видимымъ желаніемъ быть ласко-

вымъ, профессоръ сказалъ: „Съумѣете-ли влѣзть мнѣ на спину?“

Ліонель вытаращилъ на него глаза, и даже улыбнулся.

— „Конечно! Но какъ это... Зачѣмъ?“

— „Ну, проворнѣе! Не заставляйте себя ждать! Влѣзайте, держитесь крѣпче! Я васъ снесу въ карету.“

Сконфуженный, совсѣмъ растерянный отъ изумленья, мальчикъ робко исполнилъ данное ему приказаніе, и такимъ удивительнымъ способомъ спустился до самаго крыльца, у котораго уже было подано большое дорожное ландо. Прямо со спины профессора, Ліонель былъ спущенъ въ экипажъ, на цѣлую кипу мягкихъ подушекъ, и укутанъ всевозможными теплыми плéдами. Люси продолжала суетиться—поминутно совала всякую всячину въ экипажъ, и открыто кокетничала съ кучеромъ, не стѣсняясь присутствіемъ самого профессора; кое-кто изъ прислуги вышелъ на крыльцо проводить маленькаго барина—наконецъ, все было готово, кучеръ встряхнулъ возжами, Люси закричала:

— „Прощайте, мистеръ Ліонель, возвращайтесь совсѣмъ здоровые!“

Лошади тронулись—и они покатали по Коммортинской дорогѣ; скоро оставили они далеко за собою,

и Коммортинь, и маленькую пристань, и все, что было Ліонелю знакомо. М-ръ Велискуртъ не вышелъ проститься со своимъ маленькимъ сыномъ; хотя Ліонель это примѣтилъ, но не былъ огорченъ этимъ. Онъ теперь спокойно лежалъ на своихъ подушкахъ, не шевелясь, и не произнося ни слова, только изрѣдка, украдкой взглядывалъ на профессора, который, сидя совсѣмъ прямо, ни къ чему не прислонясь, сквозь очки обозрѣвалъ все его окружающее, съ видомъ чловѣка, которому повѣдана тайна мірозданія, и который пустыхъ преній о семъ предметѣ больше допускать не намѣренъ!..

Они уже далеко отъѣхали отъ Коммортина, когда Ліонель, наконецъ, рѣшился спросить:

— „А куда мы ѣдемъ?“

— „Въ Клеверли,“ отвѣтилъ профессоръ, переводя взглядъ свой на маленькое, къ нему обращенное личико. „Но сегодня еще не доѣдемъ, придется переночевать въ Ильфракомбѣ.“

— „А мой отецъ тоже будетъ въ Клеверли?“

— „Нѣтъ, онъ ѣдетъ въ Лондонъ, по дѣлу, и останется тамъ дней десять, а мы это время пробуемъ въ Клеверли.“

— „Понимаю,“ чуть слышно промолвилъ Ліонель.

Онъ подумалъ о своей матери.... крупныя слезы навернулись у него на глазахъ, и онъ быстро отвер-

нулся. Онъ думалъ, что успѣлъ скрыть свое волненіе отъ своего воспитателя,—но ошибся—профессоръ хорошо видѣлъ, какъ блеснули эти невыплаканныя слезы, вызвавшія въ самомъ тайникѣ его сердца, чувство, дотогѣ ему незнакомое... столько разъ бывалъ онъ равнодушнымъ зрителемъ страданій невинныхъ животныхъ при вивисекціи, столько разъ спокойно слѣдилъ за предсмертными муками, имъ же проколотой, бѣдной бабочки—а теперь дѣтское горе потрясло всю его душу, великою жалостью сказалось ей... и—кто знаетъ—быть можетъ, одно это мгновеніе открывало ему дверь въ то Царство Небесное, которое онъ такъ упорно отрицалъ?....

Между тѣмъ, въ опустѣломъ Коммортинскомъ домѣ, м-ръ Велискуртъ, запершись въ своемъ кабинетѣ, торопливо писалъ своимъ повѣреннымъ, извѣщая ихъ о своемъ намѣреніи тотчасъ начать дѣло о разводѣ съ Еленой Велискуртъ, указывая на сэра Чарльса Ласселя, какъ на лицо, отъ котораго надлежало требовать всѣ нужныя по этому дѣлу справки.

Окончивъ это дѣловое сообщеніе, онъ медленно вынулъ изъ стола письмо, оставленное ему женой, и принялся внимательно перечитывать его:

— „Ухожу отъ васъ,“ писала она, „безъ стыда, безъ угрызеній совѣсти. Пока я вамъ была вѣрна, вы жизнь мою превращали въ одну непрестанную

муку! Радуюсь, что через меня будетъ унижена ваша гордость, что именно мнѣ дано васъ опозорить, ваше имя смѣшать съ грязью! Вы убили во мнѣ всякое доброе чувство, вы удалили меня отъ моего ребенка... Вы отняли у меня Бога... Теперь нѣтъ у меня ни стыда, ни пониманія своего долга... Сэръ Чарльсъ ненавидитъ васъ настолько же, насколько я васъ ненавижу: *это* главное его достоинство въ моихъ глазахъ. *Что* онъ такое—я знаю, какъ знаете вы... Когда вы со мной разведетесь, онъ на мнѣ не женится—да и я за него ни за что бы не вышла! Я согласилась быть его любовницей, взамѣнъ одного года наслажденія, веселья и свободы,—а затѣмъ—какова будетъ моя жизнь?—не знаю, и знать не хочу! Быть можетъ, придетъ раскаяніе, быть можетъ—смерть—все равно! Что будетъ, то будетъ! Теперь хочу жить, я жажду наслажденія! Если что могло бы уберечь меня, это любовь моего мальчика, но вы систематически, ежедневно воздвигали преграды между ею и мною... Однако, вѣдь, было время, когда я васъ любила... *васъ!*... до чего смѣшно мнѣ вспоминать теперь это свое безуміе!

„Помните! Ліонель не даромъ мой сынъ—онъ унаслѣдуетъ мое чувство къ вамъ—рано или поздно онъ вырвется изъ вашихъ рукъ—и тогда—есть ли Богъ, или нѣтъ Бога—вы пожнете всѣ тѣ проклятія,

которыя вы такъ обильно посѣяли! Эти проклятiя да вознаграждать васъ за всѣ ваши заботы о

вашей бывшей женѣ

Еленѣ.“

Еще и еще перечитывалъ м-ръ Велискуртъ эти слова, они выступали передъ нимъ точно писанныя огнемъ... „Рано или поздно, и онъ вырвется изъ вашихъ рукъ.“ Слова эти звучали, какъ грозное предсказанiе...

— „Нѣтъ, нѣтъ!“ громко произнесъ онъ, вставая со своего мѣста и прячя письмо въ потаенный ящикъ бюро.— „Она пусть убирается, куда знаетъ! Пусть идетъ по пути всѣхъ, ей подобныхъ, тварей! Пусть она смѣшается съ уличной грязью, и будетъ забыта! Но мальчикъ—*мой!* Онъ отъ меня не уйдетъ! Изъ него я сдѣлаю, что хочу!“





Глава XII.

Жалкое Клеверли—преlestное Клеверли,—созданное для вдохновенія поэта,—во что ты нынѣ превращено! Душа усталая теперь не найдетъ въ тебѣ желаннаго пристанища; не чуднымъ тихимъ видѣніемъ встаешь ты передъ нею—тебя коснулась „толпа“, и этимъ прикосновеніемъ сразу наложила клеймо на твою красоту! По твоимъ, нѣкогда тихимъ улицамъ, походившимъ на гирлянды живыхъ цвѣтовъ, теперь слышится непрерывный, громкій топотъ тяжелыхъ ногъ и глупое гоготаніе грубыхъ голосовъ;—изъ оконъ твоихъ, цвѣтами обросшихъ домовъ, выглядываютъ тупыя лица;—всюду, тараща глаза на твою, для нихъ непонятную, красоту, снуютъ неуклюжія фигуры.... Точно стадо свиней, которое, внезапно ворвавшись въ очарованный садъ, нарушило его таинственную тишину и затоптало волшебные его цвѣты! Однако, не отреклась природа отъ взлелѣяннаго ею

уголка, и кажется, что откуда-то доносится нѣжный, молящій гласъ ея. „Пощадите, пощадите Клеверли!“ вызываетъ онъ. „Пусть это неугомонное стадо рыщетъ, если ужъ таково его назначеніе, по чужимъ землямъ— пусть въ Римѣ, въ порывѣ телячьяго восторга, разбиваются они свои бутылки содовой воды объ камни Колизея— пусть, въ Миланѣ, лѣзутъ на самый верхъ колокольни дивнаго Собора, чтобы тамъ начертать свои ничтожныя имена— пусть ухмыляются они передъ сфинксами и на пирамидахъ выпарапываютъ гнусныя надписи— но избавьте отъ нихъ мое Клеверли! Клеверли не отнимайте отъ меня! Дайте ему въ типы раскидывать свои цвѣты и одѣвать красотой и волну, и листву деревь, и злаки полей,— чтобы вся эта красота, отражаясь въ сердцахъ жителей моего Клеверли, научила ихъ быть и крѣпкими, и чистыми, и вѣрными.... Но, увы! никто не внемлетъ этому слову... насталъ часъ роковой и для прелестнаго Клеверли— его настигла „толпа!“

Совсѣмъ своеобразно жилось Ліонелю въ Клеверли. Онъ и профессоръ занимали преуморительныя комнаты: въ нихъ и потолки, и полы имѣли какой-то удивительный наклонъ, а стѣны были всѣ испещрены большими щелями— что, въ общемъ, придавало комнатамъ видъ маленькаго жилья, уцѣлѣвшаго отъ землетрясенія: все въ нихъ было особенно миловидно и

уютно, а главное, такъ непохоже на то, что встрѣчается вездѣ! Хозяйка этихъ комнатъ занималась хлѣбопеченіемъ, но это далеко не было единственнымъ ея занятіемъ. Опрятная, расторопная, она имѣла совершенно правильное понятіе о гигиенѣ и содержала свои квартирки въ отмѣнномъ порядкѣ. О своихъ жильцахъ она неусыпно заботилась: ея почитаніе знаменитаго педагога не знало границъ—а любовь къ Ліонелю, который своею кротостью и миловидностью совершенно покорила себѣ ея сердце, была самаго нѣжнаго свойства. Никогда она иначе не называла его, какъ „дорогой малютка“, и это выраженіе, подчасъ, заставляло Ліонеля задумываться...

Неужели вправду онъ былъ еще такой маленький мальчикъ? Вѣдь, ему уже пошелъ одиннадцатый годъ... Его мама въ *ту* ночь называла его своимъ бѣби—но это еще ничего не доказывало... при воспоминаніи о ея нѣжности больно сжималось его наболѣвшее сердце... и онъ старался не припоминать *какъ*, вся освѣщенная блѣднымъ лучомъ мѣсяца, она глядѣла на него, цѣлуя его въ послѣдній разъ... но было ли то дѣйствительно—послѣдній разъ?—увидитъ ли онъ ее когда нибудь?—съ тоскою невыразимой спрашивалъ онъ себя... Теперь времени для размышленія было у него очень много—профессоръ предоставилъ ему полную свободу и вообще былъ замѣ-

чательно добръ къ нему. Ліонель это чувствовалъ и былъ благодаренъ. Никогда не поминая о своей благодарности, онъ выражалъ ее по своему: онъ ежедневно заботливо чистилъ большую, уродливую шляпу профессора, и подавалъ ее ему—бережно расправлялъ и растягивалъ вывернутые пальцы его широкихъ, лайковыхъ перчатокъ, и аккуратно клалъ ихъ передъ нимъ на столъ—онъ старательно, изо всѣхъ силъ, протиралъ серебряный набалдашникъ его палки и никогда не забывалъ поднести ему, передъ обѣдомъ, бутоньерку изъ самыхъ красивыхъ цвѣтовъ. Поистинѣ было достойно удивленія—и то недоумѣніе, которое вначалѣ возбуждала въ знаменитомъ ученомъ эта о немъ забота, и то смягчающее воздѣйствіе, которое она вскорѣ возымѣла на него! Профессоръ былъ столь мало вѣренъ самому себѣ въ эти тихіе, ясные дни, проведенные въ Клеверли, что не разъ принимался рыться въ далекихъ воспоминаніяхъ своей юности, чтобы воскресить въ своей памяти давно забытыя волшебныя сказанія.... тщательно приводилъ онъ собранные отрывки въ послѣдовательный порядокъ, чтобы занимательнымъ разсказомъ развлечь и заинтересовать Ліонеля. Однажды ему пришло на мысль разсказать ему въ „волшебной формѣ“ поэтическую классическую легенду—„Амуръ и Психея“:—хотѣлось ему видѣть, какъ мальчикъ разберется въ таинственномъ ея смыслѣ.

Окончивъ свою утреннюю прогулку, они присѣли отдохнуть на зеленый холмикъ, съ котораго, сквозь трепещущіе листья деревьевъ, виднѣлось далекое, лазурное море. И здѣсь, своимъ хриплымъ, грубымъ голосомъ, которому онъ напрасно старался придать нѣ-которую нѣжность, профессоръ разсказалъ умилительную повѣсть о блаженствѣ Психеи—до той роковой ночи, когда, засвѣтивъ свой свѣтильникъ, она приподняла его надъ спящимъ таинственнымъ небожителемъ, желая *очами* видѣть черты его...—загремѣлъ громъ—наступила тьма—свѣтильникъ упалъ и погасъ... и въ тихій часъ полуночный послышался шумъ какъ бы могучихъ крыльевъ.—Чу!...это любовь отлетала... одна осталась Психея... И съ тѣхъ поръ, она оди-нока, и слезы лить, и ищетъ *то*, что утрачено было ею—что она распознала и больше не можетъ найти...

Ліонель слушалъ, притаивъ дыханіе—его глубокій взоръ то задумчиво устремлялся вдаль, то внимательно останавливался на морщинистомъ лицѣ профессора. Онъ долго молчалъ и наконецъ промолвилъ:

— „Какъ это хорошо... очень мнѣ нравится эта сказка—но смыслъ ея, вѣдь, совсѣмъ серьезный, не правда-ли? Можно ли мнѣ вамъ сказать *все*, что я объ ней думаю?“

Профессоръ утвердительно кивнулъ головою, и Ліонель началъ тихимъ, задумчивымъ голосомъ:

— „Видите-ли, Психея *не знала*—и она захотѣла *узнать*... не то же ли дѣлаю и я, и вы, и всѣ? Тогда и мы зажигаемъ свѣтильники и стараемся разглядѣть, что вокругъ насъ и, быть можетъ, воображаемъ, что открыли Атомъ—и вдругъ настигаетъ насъ тьма—и мы умираемъ—свѣтильники наши потухаютъ! Но шума крыльевъ—мы не слышимъ... Если бы слышали его, т. е. шумъ крыльевъ, мы бы *чувствовали*, что Кто-то съ нами былъ и отъ насъ ушелъ—и какъ стремились бы мы—туда, за Нимъ!... Можетъ быть, когда мы умремъ, мы шумъ крыльевъ услышимъ, и тогда узнаемъ *то*, что теперь узнать не можемъ, потому что свѣтильники наши такъ быстро гаснутъ...”

Профессоръ ничего не возразилъ; онъ не могъ противорѣчить тому, что такъ логично изложилъ мальчикъ. Ліонель поднялъ вверхъ свое личико и еще понизилъ голосъ:

— „А для *тѣхъ*, кто вѣруетъ во Христа—вотъ для *нихъ* и есть—шумъ крыльевъ! потому что, вѣдь, они говорятъ: „Онъ воскресъ изъ мертвыхъ и вознесся на небо“—и они всегда ощущаютъ, что есть Кто-то, вслѣдъ за Кѣмъ они хотятъ идти... какъ отраднo, должно быть, для нихъ это чувство!”

Тутъ профессоръ Кадмон-Горъ, если-бы далъ себѣ волю, охотно пустился бы въ сложныя аргументаціи,—

но передъ этимъ маленькимъ, хилымъ ребенкомъ, удрученнымъ горемъ, онъ не рѣшился развивать свои безотрадные теоріи, и милосердно промолчалъ.

— „*Какое чудовищное преступленіе воспитывать этого ребенка безъ всякаго вѣрованія!*“ вдругъ пронеслось въ умъ его, точно озаряя его нестерпимымъ; ослѣпительнымъ свѣтомъ... и сердце его сжалось до боли... Ошеломленный проявленіемъ этого, ему незнакомаго, чувства, онъ старался побороть его — но, и скрытое въ тайникѣ его души, оно, помимо его воли, давало о себѣ знать, наводя его на мысли, которыя томили и смущали его. Назойливый внутренній голосъ предлагалъ ему рядъ вопросовъ, подобныхъ слѣдующимъ: — „Хорошо-ли отнимать вѣру, когда взамѣнъ ея — дать нечего?“ „На мѣсто вѣры мы ставимъ разумъ,“ отвѣчалъ профессоръ. — „Но,“ продолжалъ голосъ, „разумъ легко пошатнуть на его престолѣ! Горе — побѣждаетъ его, — страсть — его перебиваетъ. Восторги любви безумно влекутъ въ бездну грѣха, отчаянія, смерти... Горе, горькое, одинокое горе, доводитъ до изступленія, до потери всякаго сознанія... и что тогда можетъ разумъ? Только вѣра одна спасти можетъ, — вѣра въ Бога Любви — и слова: „кто соблазнитъ единого изъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня — тому лучше было бы, если бы повѣсили ему мельничный жерновъ на шею,

и потопили его во глубинъ морской,“ должны во вѣки лечь проклятіемъ на всякаго, мужчину или женщину, кто словомъ, дѣломъ, или примѣромъ силится расшатать и уничтожить эту единственную опору всякой души страждущей, изнемогающей въ житейской борьбѣ.“

Такъ рассуждалъ внутренній голосъ, — профессоръ явственно слышалъ его и приходилъ къ заключенію, что умственные его способности, видимо, ему измѣняются... Что-то странное совершалось въ немъ, — что-то, чего онъ опредѣлить не могъ словами, — что-то, что со временемъ могло сдѣлать его мудрѣе, нежели онъ когда-либо считалъ себя!

Въ эти мирные, совершенно праздные дни пребыванія въ Клеверли, Ліонель часто спускался на берегъ моря и тамъ по долгу сиживалъ, бесѣдуя съ моряками, которымъ очень полюбился маленькій баринъ. Желая доставить ему удовольствіе, они частенько брали его съ собою, когда уходили далеко въ море на ловлю, — но эти прогулки не особенно живительно дѣйствовали на Ліонеля: — съ нихъ онъ возвращался какъ-то и печальнѣе, и блѣднѣе.

У простыхъ этихъ людей всегда бывали въ запасѣ какіе-нибудь раздирающіе рассказы, то о кораблекрушеніяхъ, то объ утопленникахъ, выброшенныхъ на берегъ волною, — слушая ихъ, Ліонель

холодѣлъ отъ ужаса и съ какимъ-то отвращеніемъ смотрѣлъ на коварное море. И снова вопросъ, мучительный и страшный, вставалъ передъ нимъ, — къ чему все это? Къ чему жить, надѣяться, любить и трудиться?... Печально звучалъ въ его сердцѣ безотрадный отвѣтъ...

Какъ-то вечеромъ, незадолго до заката, Ліонель, по обыкновенію, отправился гулять на берегъ — погода стояла довольно хмурая, большая часть лодокъ была уже убрана подъ навѣсы — у одного изъ нихъ стояла толпа матросовъ, какъ замѣтилъ Ліонель. Всѣ они казались въ какомъ-то возбужденіи и съ ужасомъ старались заглянуть подъ навѣсъ, у котораго собрались. Ліонель почти что поравнялся съ ними, когда одинъ изъ нихъ, завидѣвъ его, сдѣлалъ знакъ, чтобы онъ не подходилъ ближе.

— „Что случилось?“ съ волненіемъ спросилъ Ліонель, — „кто-нибудь утонулъ?“

— Нѣтъ, нѣтъ, маленькій баринъ, отвѣтилъ старый морякъ, „на этотъ разъ не наше море виновато! Но вамъ-то здѣсь нечего дѣлать... это какой-то пришлый — вѣрнѣе всего изъ туристовъ, — онъ взялъ, да повѣсился подъ навѣсомъ у старика Давида.“

— „Повѣсился!“ воскликнулъ, содрогаясь, Ліонель, „какъ же могъ онъ это сдѣлать?“

— „Положимъ, дѣло-то не мудреное,—былъ-бы только шарфъ, да гвоздь. У него было и то, и другое: сдѣлалъ узелъ, на потолокъ вбилъ гвоздь—вдѣлъ туда,—ну, и готово... Когда его сняли, уже не было признаковъ жизни—напрасно теперь стараются его привести въ чувство... Однако, маленькій баринъ, идите-ка лучше домой,—здѣсь вамъ не мѣсто. Бѣгите скорѣе, вотъ, молодецъ! Кстати, и погода-то свѣжѣетъ, сегодня прокатить васъ по морю не придется.“

Ліонель слушалъ молча, и, молча, слѣдуя совѣту рыбака, повернулъ назадъ, въ направленіи къ деревнѣ;—шелъ онъ твердою поступью, сердце неровно билось, пылокое воображеніе такъ живо рисовало передъ нимъ страшную картину мертвеца, висѣвшаго подъ навѣсомъ, и, содрагаясь, онъ невольно остановился и оглянулся: море начинало бушевать. Огромные валы, гонимые вѣтромъ съ океана, стремительно катились къ берегу, настигая и перегоняя другъ-друга—и бѣлая пѣна, причудливо извивавшаяся вдоль ихъ грозныхъ гребней, казалось чудовищною сверкающей сѣтью, закинутой, чтобы ловить и топить жалкихъ, беспомощныхъ людей... И вторично, но съ новою силою, безжалостное равнодушіе природы ужасомъ сказалося душѣ его...

За вечернимъ чаемъ, у него видъ былъ такой жалкій и усталый, что профессоръ, съ безпокой-

ствомъ вглядываясь въ него сквозь свои очки, спросилъ, что съ нимъ случилось? Онъ сразу не могъ объяснить и, наконецъ, промолвилъ, что ему было такъ жалко несчастнаго, который повѣсился.

— „Какой несчастный? гдѣ? кто повѣсился?“ въ испугѣ разспрашивалъ профессоръ.

Ліонель подробно передалъ все что зналъ, и почтенный педагогъ успокоился: вначалѣ онъ страшно встревожился при мысли, что его маленькій воспитанникъ видѣлъ тѣло повѣсившагося человѣка, и былъ теперь очень доволенъ, что опасеніе это оказалось напраснымъ!

— „Что же, смерть черезъ повѣшеніе — смерть самая легкая“, сказалъ онъ равнодушно, „она почти не причиняетъ страданія. Надо полагать, что человѣкъ этотъ былъ какой-нибудь проходимецъ, у котораго не было денегъ, и онъ не зналъ, гдѣ бы ихъ достать“.

— „Но не ужасно-ли“, спросилъ Ліонель, „не страшно-ли подумать, что во всемъ мірѣ не нашлось добраго человѣка, чтобъ спасти этого несчастнаго отъ подобной смерти?“

— „Конечно, оно кажется ужаснымъ“, ласково согласился профессоръ — теперь онъ всегда былъ ласковъ съ Ліонелемъ, — „но въ сущности, кто знаетъ? Смерть еще не худшее изъ всѣхъ золъ, — всѣ мы должны умереть, — а иные люди желаютъ умереть

раньше *своего* времени: — для таковыхъ было бы горько, если бы ихъ не допустили до „желаннаго“ конца. Китайцы и японцы, какъ вы читали въ своихъ книгахъ, не придають значенія собственно *процедуръ* смерти, — у нихъ самоубійство пользуется даже извѣстнымъ почетомъ. Въ данномъ случаѣ, злополучный этотъ человѣкъ имѣлъ подъ рукою все нужное для повѣшенія — шарфъ и гвоздь, и, долго не думая — онъ повѣсился! Однако, въ отношеніи другихъ онъ поступилъ не деликатно — ему слѣдовало, не причиняя никому хлопотъ, просто броситься въ море — конецъ все одинъ!“

Ліонель ничего не отвѣтилъ. Разговора этого онъ больше никогда не возобновлялъ и въ деревнѣ никого не разспрашивалъ „о самоубійствѣ неизвѣстнаго“; реляція о немъ, на другое же утро, появилась во всѣхъ мѣстныхъ газетахъ. Но это происшествіе произвело впечатлѣніе на его чуткую душу — онъ никогда не упоминалъ о немъ, и оттого оно все сильнѣе запечатлѣвалось въ его памяти.

Послѣ двѣнадцатидневнаго отсутствія, профессоръ и Ліонель наконецъ возвратились въ Коммортинъ. Хотя Ліонель былъ еще очень худъ и очень блѣденъ, въ общемъ онъ замѣтно поправился: печальное выраженіе его глазъ не измѣнилось и скорбь его была все та же — но тихую покорность теперь освѣщали лучи

надежды... онъ чего-то ждалъ отъ будущаго и мечталъ... онъ желалъ учиться — учиться много, много, чтобы скорѣе доучиться и сдѣлаться человѣкомъ... а тогда, гдѣ бы она ни была, отыскать свою маму и убѣдить ее вернуться къ нему! — Дорогой онъ, мимоходомъ, сообщилъ профессору о своемъ намѣреніи засѣсть какъ можно прилежнѣе за уроки, но профессоръ какъ-то равнодушно отнесся къ этому заявленію.

— „Конечно,“ сказалъ онъ, „вы можете по немногу продолжать нѣкоторые свои занятія, но браться за нихъ сразу не для чего. Напримѣръ, завтра можете весь день ничего не дѣлать, и съ утра предпринять какую нибудь прогулку. Если захотите, возьмите съ собою книжку — не заглянете въ нее — бѣды въ томъ не будетъ! Такъ какъ вы были больны, мы пока не слишкомъ будемъ налегать на свои работы, а то, чего добраго — докторъ снова на насъ нагрянетъ!“

Онъ улыбнулся своею вновь приобретенною доброю улыбкой, и Ліонель весело улыбнулся ему въ отвѣтъ — такая радостная мысль промелькнула у него въ головѣ! Онъ будетъ свободенъ — все свѣтлое, лѣтнее утро будетъ его и — онъ пойдетъ къ милой, маленькой Жесминѣ! До чего она удивится! Какъ будетъ рада! Какъ личико ея вдругъ все за-

свѣтитъ, и заиграетъ улыбка, и покажутся прелестныя ямочки, а глаза голубые, какъ они засіяютъ!.. И глаза его заблестали, личико все зарумянилось—трепетная радость ожиданія охватила все существо его, такъ что когда они вѣзжали въ знакомую липовую аллею сада, онъ чувствовалъ себя почти что счастливымъ, что возвращается—домой!

М-ръ Велискуртъ уже вернулся изъ Лондона и встрѣтилъ Ліонеля съ холоднымъ достоинствомъ.

— „Очень радъ видѣть васъ въ столь цвѣтущемъ состояніи“, сказалъ онъ, дотрогиваясь до дрожащей руки своего сына. Затѣмъ, обращаясь къ профессору Кадмон-Гору, онъ прибавилъ: „Надѣюсь, профессоръ, что *это* испытаніе не слишкомъ измучило васъ.“

Профессоръ на него посмотрѣлъ—странное было выраженіе его лица, и улыбка была загадочная, когда онъ отвѣтилъ:

— „Долженъ признаться, мистеръ Велискуртъ, испытанія не было никакого: я былъ совершенно счастливъ... и это сущая правда!“





Глава XIII.

На утро погода стояла теплая, солнечная. Когда Ліонель напомнил профессору данное имъ наканунѣ общаніе, онъ тотчасъ подтвердилъ его. Такъ какъ Ліонель былъ мальчикъ весьма добросовѣстный, онъ тутъ же заявилъ профессору о своемъ намѣреніи во время прогулки позаняться латинской грамматикой — чего профессоръ, однако, не одобрилъ.

— „Нѣтъ,“ сказали онъ, „это совершенно лишнее, сегодня вы должны отдыхать, а завтра мы, быть можетъ, кое-чѣмъ и займемся.“

Съ радостной улыбкой, Ліонель поблагодарилъ его, схватилъ свою шапочку и весело выбѣжалъ въ садъ. Да — ему было весело.... и стыдно какъ-то было — это сознавать... Вѣдь, не измѣнилась же жизньъ его, потому что въ это утро солнце радостно свѣ-

тило, и птицы распѣвали свои пѣсни, и самъ онъ шелъ къ милой маленькой Жесминѣ!—Ничто не измѣнилось—былъ онъ все тотъ же бѣдный, одинокій мальчикъ, брошенный матерью—неужели онъ такъ скоро *все это* забылъ—и ее забылъ?... Нѣтъ, онъ не забылъ... онъ былъ не изъ тѣхъ, которые *забываютъ*... Но молодость всегда останется молодостью и возьметъ свое вопреки всякому горю, всякому притѣсненію—въ это свѣтлое утро никакъ не могъ онъ чувствовать себя печальнымъ!

Отъ созрѣвшей золотистой нивы, отъ густой листвы деревьевъ, отъ всего окружающаго, вѣяло довольствомъ и радостью—и когда онъ, изъ сада ступилъ на тропинку, которая вела прямо къ древней Коммортинской церкви—тутъ онъ думалъ найти Рубена Дейля и его дѣвочку—на него точно пахнуло общей живительной радостью! Сколько разныхъ плановъ быстро теперь слагалось въ его головѣ!—онъ положительно привязался къ профессору Кадмон-Гору, и непременно будетъ просить его, чтобы позволилъ заниматься подъ его руководствомъ еще нѣсколько лѣтъ, но только у него, т. е. въ домѣ самого профессора. Противъ этого, ему казалось, что и отецъ его не найдетъ что возразить—„и,“ продолжалъ онъ размышлять про себя: „хотя самъ профессоръ, очевидно, не можетъ объяснить мнѣ то, что я хочу

знать про Атомъ — онъ могъ бы постепенно направить меня на путь, по которому я уже самъ, быть можетъ, добрался бы до того, что знать хочу. Мнѣ кажется, что и онъ теперь меня немножко даже полюбилъ... въ Клеверли мы какъ-то сошлись, лучше узнали другъ друга — хотя видъ у него суровый — онъ добрый — и понимаетъ меня, а, вѣдь, очень должно быть трудно старому человѣку понимать маленькаго мальчика!... Вотъ и церковь! Какъ чудно солнышко освѣтило ее! А, вонъ, тамъ и м-ръ Дейль! — и по обыкновенію — копаетъ могилу!.... “

Улыбаясь, онъ ускорилъ шагъ, а затѣмъ и совсѣмъ побѣжалъ! Добѣжавъ до калитки кладбища, онъ неслышно открылъ ее и неслышно, на цыпочкахъ, побѣжалъ дальше по дорожкѣ — ему хотѣлось, если гдѣ нибудь по близости маленькая Жесмина, захватить ее врасплохъ! Онъ былъ уже въ двухъ, трехъ шагахъ отъ Рубена Дейля — и вдругъ остановился — какъ-то страшно ему стало: Рубенъ его не замѣчалъ — его сѣдая голова низко склонилась надъ работой — и глухое, душу раздирающее рыданіе вырывалось изъ груди его, по мѣрѣ того, какъ лопата за лопатой выбрасывала сырую землю на зеленый дернъ, — *а тамъ* — въ глубинѣ — обрисовывалось маленькое четырехъугольное углубленіе — дѣтская могила...

Въ глазахъ у него потемнѣло,—горло судорожно сжималось, задерживая дыханіе — онъ весь дрожалъ и протягивая руки къ Рубену, едва проговорилъ:

— „М-рѣ Дейль!... О! м-рѣ Дейль!....

Тогда Рубенъ поднялъ голову,—крупныя слезы катились по лицу его, и страшное, нѣмое отчаяніе выражалось въ каждой чертѣ его... Онъ молчалъ, и Ліонель, отъ ужаса, не могъ проронить ни слова. Что-то мучительное,—*что-то*, отъ чего замирало и холодѣло его сердце—давило его... онъ ждалъ—и боялся услышать голосъ Рубена.... и вдругъ Рубенъ заговорилъ...

— „Она вспоминала тебя, мой голубчикъ, да, вспоминала,—послѣднія ея слова были: „Лилѣ скажите, что его люблю.“ Никогда не забыть мнѣ это—не забыть и той блаженной, ангельской улыбки, которой она улыбнулась, говоря это,—моя Жесмина, мой цвѣтикъ дорогой!... „Лилю люблю“... это она сказала—и минуту спустя—скончалась!...“

— „Скончалась!...“ задыхаясь, точно не своимъ голосомъ, произнесъ Ліонель. „Умерла! — Жесмина! Жесмина *мертвая!* Нѣтъ, нѣтъ, *нѣтъ!* это не возможно! это быть не можетъ! И вы сами это хорошо знаете... вы, вѣрно, больны, въ бреду—не можетъ *это* быть правда!...“

Тутъ, точно громомъ потока оглушило его, глаза его налились кровью, и, какъ раненый, отъ боли

взбѣсившійся бѣдный звѣрекъ, онъ съ дикимъ крикомъ кинулся къ Рубену, судорожно схватилъ его за руки и, дрожа всѣмъ тѣломъ, прижался къ нему.

— „Нѣтъ, нѣтъ! это не маленькая Жесмина! не она умерла... О, не говорите этого! Не *ее* вы туда положите, въ холодную землю! Не *нашу* Жесмину!—О, держите меня... держите крѣпче,—я боюсь... О, Жесмина!... она жива,—ну, скажите же скорѣе, что это неправда, будто ея уже нѣтъ!... *это* было-бы слишкомъ безжалостно—слишкомъ уже жестоко!“

Рубенъ Дейль, отвлеченный отъ своего собственного горя этимъ страшнымъ порывомъ отчаянія, бросилъ въ сторону свою лопату и, нѣжно обнявъ бѣднаго ребенка, прижалъ его къ своему наболѣвшему сердцу, стараясь казаться спокойнѣе, чтобы хоть немного успокоить его.

— „Развѣ ты объ этомъ не слыхалъ, милый?“ началъ онъ неровнымъ, тихимъ голосомъ. „Ахъ, да—я забылъ, ты слышать не могъ: тебя, вѣдь, здѣсь въ это время не было. Я-то слышалъ, что ты былъ боленъ, и что тебя увезли въ Клеверли, но, конечно, некому было тебя извѣстить о горѣ бѣднаго, ничтожнаго человѣка. Я самъ ходилъ въ домъ твоего отца, чтобы тебѣ сказать,—потому что она не переставала говорить о тебѣ, только что ея горлышко

немного очищалось, и говорить становилось возможно— вотъ тогда-то я и узналъ, что ты уѣхалъ. Она дифтеритъ схватила— онъ свирѣпствовалъ у насъ во всей деревнѣ,—а страдала-то она всего дня четыре. И мы сдѣлали все, что могли, для милой пташечки, и д-ръ Гартлей, спаси его, Господи!—не отходилъ отъ нея, ни днемъ, ни ночью,—добрый, хорошій онъ человѣкъ,—казалось, что и онъ былъ готовъ, заодно со мною, отдать жизнь свою, чтобы спасти ее! Но все было напрасно... видишь-ли, милый, она-то была цвѣтокъ слишкомъ прекрасный, чтобы цвѣсти для насъ грѣшныхъ—и— Господь ее взялъ... Онъ правъ; Онъ воленъ дѣлать, что хочетъ съ тѣмъ, что Его достояніе,—но мнѣ-то, мнѣ-то, бѣдному, слабому человѣку, до чего тяжело,—голубчикъ ты мой!... Сначала мать,—затѣмъ дитя!... Господи! Ты дай мнѣ силу сказать:—„Да будетъ воля Твоя!“ Моя-же сила оскудѣла во мнѣ, я теперь, какъ трость, надломленная бурей!“

Голова его склонилась на голову ребенка, который, прижавшись къ нему, поминутно нервно вздрагивалъ и жалобно стоналъ. Надъ ними голубое небо было совершенно безоблачно—солнце царственно сіяло, и золотистые его лучи, какъ привѣтъ райской стороны, лились въ самую глубь маленькой, недоконченной могилки.

Вдругъ Ліонель приподнялъ голову и медленно, съ выраженіемъ невыразимаго ужаса, обвелъ кругомъ глазами—глаза его горѣли лихорадочнымъ огнемъ, лобъ былъ сморщенъ, какъ у старика,—онъ точно на десять лѣтъ постарѣлъ...

— „Вы ее туда положите?“ прошепталъ онъ, указывая на могилу— „маленькую Жесмину... вы покроете ее волосики, ея голубые глазки этой черной землей? неужели хватить у васъ духа это сдѣлать? Она смѣялась и играла,—она смѣяться и играть больше не будетъ... вы же ее упрячете туда навсегда, навсегда!“—голосъ его дрогнулъ,— „и никогда больше не увидимъ ее—никогда! О, Жесмина, Жесмина!“...

Рубенъ, потрясенный до глубины души дикимъ припадкомъ этой скорби, которая все-же всей тяжестью своею ложилась на него, самъ зная одно лишь утѣшеніе, *то*, которое онъ черпалъ изъ простой, крѣпкой своей вѣры въ Бога.—Тихо проводя своею большой, грубой рукой по кудрямъ мальчика— онъ продолжалъ тихимъ голосомъ:

— „Она тебя любила, она тебя вспомнила въ послѣднюю минуту—это тебѣ должно быть отрадно, милый... А разъ, когда полегчила боль, и она могла говорить почти внятно, она сказала: „Скажите Лилѣ, что я его скоро увижу—гораздо, гораздо раньше, не-

жели онъ выростетъ большой“—это самыя ея слова—
дѣточка родная... видно, мысли ея уже слегка пута-
лись, и она не знала, что говорить. Скончалась она
совсѣмъ спокойно—благодареніе Господу! Въ запро-
шлую ночь она обняла меня своими рученками, ска-
зала: „Тятя!“ совсѣмъ весело,—такъ она меня звала,
когда была еще крошка, затѣмъ улыбнулась — „Лилю
люблю,“ промолвила—и отошла... И лежитъ она те-
перь въ своемъ гробикѣ, букетъ изъ жасмина въ кро-
хотныхъ рукахъ—и мы оборвали всѣ цвѣты съ на-
шего жасминового дерева—кому они нужны теперь!...“

Голосъ его обворвался, и онъ снова зарыдалъ.

Лионель же не проронилъ ни одной слезинки. Онъ
вдругъ какъ-то нервно выскользнулъ изъ нѣжно-обни-
мавшихъ его рукъ Рубена, и порывисто бросился на
колѣни подлѣ мрачнаго зіющаго отверстія.

— „Туда—туда положите ее,“ хриплымъ голосомъ
прошепталъ онъ.— „Тамъ будетъ Жесмина!!...“

Судорожно сжимая и разжимая свои руки, онъ
все пристальнѣе и пристальнѣе глядѣлъ вглубь мо-
гилы, точно ужасъ приковалъ его къ ней. Рубень
ласково и нѣжно дотронулся до его плеча.

— „Нѣтъ, голубчикъ,“ сказалъ онъ, слезы слы-
шались въ его голосѣ, и какъ-то неизъяснимо тро-
гательно звучалъ онъ. *Не тамъ!* такъ думать не
надо! *А тамъ, милый, вонъ, тамъ!*“ И онъ поднялъ

глаза къ чистой лазури безоблачнаго неба, „тамъ, въ Божіихъ селеніяхъ—тамъ, гдѣ Ангелы Его святыя, теперь наша Жесмина! Она теперь у Самого Христа... и лучше такъ—лучше.... Видно, зналъ Онъ, что трудно будетъ ея нѣжнымъ ножкамъ долго слѣдовать по тернистому жизненному пути—и изъ жалости взялъ Онъ ее къ Себѣ и раньше времени сдѣлалъ Ангела изъ нея: это уже вѣрно, что въ эту самую минуту, она Ангелъ—чистый Ангелъ у престола Всевышняго.... И *не Жесмину* уложу я здѣсь межъ цвѣтовъ, мой голубчикъ, а только милый ея хорошенькій обликъ—не могли мы не любить и его—всѣ мы, но все же—онъ не сама наша Жесмина—*наша Жесмина жива*—она живетъ и любитъ... и ничто не можетъ намъ помѣшать любить другъ друга. И мать и дитя теперь у Бога—онѣ въ радости—я въ печали, но черезъ нѣсколько годовъ и я буду съ ними и тогда познаю, что все было къ лучшему—теперь это тайна для меня—и тяжело разставанье!...”

Ліонель смотрѣлъ на него въ упоръ—лицо его было блѣдно, губы сжаты.

— „И вы этому вѣрите!“ воскликнулъ онъ. „Но вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Это неправда—это только одно лишь нелѣпое суевѣріе! Бога—нѣтъ. Будущей жизни—нѣтъ! Нѣтъ такихъ созданій, какъ—Ангелы! Жалкій, жалкій человѣкъ!.. Развѣ вы ни-

когда ничему не учились? Послѣ смерти — нѣтъ ничего! Понимаете-ли?! Маленькую Жесмину вы больше никогда не увидите! Никогда, никогда!“ Онъ приподнялся съ колѣнъ — видъ у него былъ такой странный, ожесточенный, дикій — что Рубену почудилось, что имъ овладѣла нечистая сила, и онъ какъ-то невольно попятился отъ него. „Итакъ, вы рѣшили, что положите ее туда,“ продолжалъ Ліонель, „опустите гробикъ, покроете его вѣнками вашего жасмина и затѣмъ закидаете землю, и скоро.... черви поползутъ по ея милому личику, заползутъ въ ея волосики — превратить ее въ *то*, до чего вы бы сами не дотронулись!.. И, однако, вы ее любили!“ — Онъ весь задрожалъ. „И вы еще можете разсуждать о — Богѣ!.. Развѣ вы не понимаете, что Богъ, Который могъ бы, безъ всякой къ тому причины, отнять у васъ вашу Жесмину — былъ бы чудовище — злое, безжалостное чудовище!.. Для чего было Ему давать вамъ ее, и затѣмъ, безъ цѣли и причины, убивать ее, васъ заставлять терпѣть такую муку? Нѣтъ, нѣтъ, Бога — нѣтъ! Вы ничего не читали, ничего не изучали и оттого ничего не можете понимать. Нѣтъ — Бога, есть только — Атомъ, а ему-то — все равно!“

Рубенъ начиналъ серьезно опасаться за разсудокъ бѣднаго ребенка — онъ снова хотѣлъ было обнять его, но Ліонель, содрогаясь, его оттолкнулъ. „Бѣдный, бѣд-

ный мальчикъ, онъ совсѣмъ обезумѣлъ отъ неожиданнаго удара, и теперь самъ не знаетъ, что говорить, “думалъ добродушный Рубень, не спуская глазъ съ маленькой фигуры, которая въ какомъ-то окаменѣніи неподвижно стояла надъ могилой. „Если бы онъ могъ плакать, ему было бы легче,“ промелькнуло у него въ головѣ, и онъ громко, внятно сказалъ:

— „Не пойдешь-ли со мною, милый, посмотрѣть на Жесмину,—какъ она спитъ между цвѣтовъ,—это тебя не испугаетъ,—она точно улыбающійся спящій Ангелъ —и любовь Божія освѣняетъ ея личико. Пойдемъ!“

— „Нѣтъ! запальчиво отвѣтилъ Ліонель. Не пойду! Вы, вѣрно, забыли, что я шелъ сегодня сюда, думая, что она живая,—что она весело меня встрѣтитъ — что ея глазки заблестаютъ,—и я былъ такъ счастливъ!—а она это самое время была..... нѣтъ, нѣтъ, не могу ее *такъ* видѣть,—а то будетъ все мнѣ мерещиться могила — черви..... вотъ они... вотъ смотрите — вонъ одинъ *тамъ* уже ползетъ....“ онъ захохоталъ страшнымъ хохотомъ, который прерывало сухое рыданіе. „И вы—вы еще можете вѣрить, что Богъ, который убилъ Жесмину—милосердый!“ Онъ всплеснулъ руками и пустился бѣжать, бѣжалъ безъ оглядки, все дальше и дальше въ направленіи къ лѣсу, который тѣнилъ надъ Коммортиномъ.

Ошеломленный, перепуганный Рубень, долго смотрѣлъ ему вслѣдъ.

— „Боже, помоги дитяти!“ молитвенно произнестъ онъ. „Сдается мнѣ, что, кромѣ смерти моей Жесмины, что-то терзаетъ его душу,—что-то, чему помочь—мудрено.... Мать его бросила... бѣдное дитя—*такое* разставанье еще больнѣе... Что тутъ подѣлаешь?...“

И снова онъ взялся за свою лопату и продолжалъ свою печальную работу. Бережно и нѣжно собственными руками онъ уравнивалъ и приглаживалъ землю по бокамъ дорогой ему могилки, и осторожно, безъ отвращенія, оттуда вынулъ бѣднаго червяка, на котораго указалъ Лιονель—и видно было, что въ его глазахъ и это низшее изъ всѣхъ Божіихъ твореній имѣло цѣну, какъ частица того цѣлаго, которое Духомъ Своимъ оживотворилъ и освятилъ Господь. „Тяжело человѣку взрослому переносить испытаніе,—но вдвое тяжеле такому малому ребенку—ему въ горѣ не сказывается еще Господь... видитъ онъ въ испытаніи лишь горе—*одно*. Боже! помоги всѣмъ намъ, изнемогающимъ и грѣшнымъ! Жесмина! Жесмина! Моя дѣвочка! Мой цвѣтокъ милый, и кто могъ ожидать, что ты такъ скоро понадобишься своему Господу!“ Слезы неудержимо хлынули у него изъ глазъ и закапали въ могилку, которую онъ копалъ все глубже. „Но Онъ, вѣдь Богъ любви! Не взыщетъ

Онъ за эти слезы, и, въ свое время, Онъ Самъ доведетъ мою бѣдную, измученную душу до сознанія, что все къ лучшему... и приплетъ за мною моихъ двухъ ангеловъ, когда придетъ время мое... а оно уже близко, не долго мнѣ ждать теперъ... не долго, цвѣтокъ мой дорогой!..." Одной рукой онъ утеръ свои слезы и терпѣливо продолжалъ печальную работу свою. Наконецъ, могилка была окончена — внутри вся выложенная душистыми миртовыми вѣтками, она теперь походила на мягкое, зеленое гнѣздышко. Прикрывъ ее двумя дощечками, чтобы защитить отъ ночной росы, онъ взвалилъ на плечи тяжелую лопату и побрелъ домой, размышляя съ тоской о томъ, что предстояло ему пережить на слѣдующее утро, когда все то, что еще оставалось при немъ отъ его дѣвочки, будетъ, съ молитвою и благословеніемъ, предано землѣ.

Тѣмъ временемъ, Ліонель переживалъ страшную муку. Онъ выбѣжалъ съ кладбища, едва сознавая, что дѣлаетъ, и очнулся только, когда очутился одинъ подъ темной сѣнью сосенъ и дубовъ. Голова его горѣла, и сухіе глаза были какъ въ огнѣ—онъ бросился на мягкую траву и *заставилъ* себя думать: итакъ, Жесмина умерла! Свѣтлое созданіе съ небесно-голубыми глазами, и нѣжной, дѣтской улыбкой—теперь лежитъ бездыханное, окоченѣлое въ гробу! Какъ было *этому* повѣрить! Онъ вспоминалъ, какъ онъ видѣлъ

ее въ послѣдній разъ: она выглядывала изъ-за *своихъ* цвѣтовъ, и такъ мило проговорила нѣжнымъ, грустнымъ голоскомъ: „бѣдный Лиля? боюсь, что ты больше никогда меня не увидишь!“ А затѣмъ — ея послѣднее прощаніе: „прощай, Лиля! — не надолго!“

— „Не надолго! а — теперь было — прощай навсегда! О, маленькая Жесмина! Бѣдная, бѣдная, маленькая Жесмина!“ жалобно простоналъ онъ. Онъ не плакалъ — горе пресѣкло у него благодатныя слезы... „И зачѣмъ все это было, — спрашивалъ онъ себя — вся эта довѣрчивая нѣжность, эта милая невинность, эта наивная, таинственная вѣра во Христа и въ Его Ангеловъ — зачѣмъ?“ „Ахъ, до чего это жестоко!“ громко воскликнулъ онъ, приподнявъ свое блѣдное, искаженное личико къ небу, которое чуть виднѣлось сквозь вѣтки деревьевъ. „Безжалостно было создать и *ее* — безжалостно было создать и *меня* — если *такъ* все кончается... О! какъ безжалостно, и бессмысленно, и жестоко!“ Онъ всталъ, выпрямился и простоялъ нѣсколько минутъ неподвижно съ крѣпко сжатыми руками, и потупленнымъ взоромъ. „А вдругъ — всѣ эти ученые люди ошибаются... вдругъ Атомъ-то и есть — Богъ, а Христосъ — не мнѣ — а *То*, что такъ чудно возвѣщаетъ Евангеліе — *тогда* — Жесмина *теперь* — *тамъ*... потому что за этой жизнью, есть жизнь другая... Но какъ, какъ узнать правду?“ Задумчиво

онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, и вдругъ озарила его мысль, отъ которой глаза его засверкали и румянецъ разлился по его личику. „Да, да — *такъ* я узнаю эту тайну,“ шепталъ онъ про себя — „иначе, нельзя — *а такъ*, все, все самъ узнаю!...“

Какое-то торжественное спокойствіе вдругъ нашло на него — оно сказывалось и въ его взглядѣ, и въ каждомъ его движеніи. Не торопясь вышелъ онъ изъ лѣса, медленно спустился съ горы, на которую такъ недавно вбѣжалъ какъ безумный — и степеннымъ шагомъ, потупивъ глаза, пошелъ по дорогѣ, которая вела мимо церкви; — поровнявшись съ кладбищемъ, онъ даже не поднялъ глазъ. У самаго дома онъ встрѣтился съ профессоромъ Кадмон-Горомъ, который энергично шагаль взадъ и впередъ по большой аллеѣ.

— „Ну, что же!“ воскликнулъ профессоръ — „прогулка удалась?“

Ліонель ничего не отвѣтилъ. Профессоръ пристально на него посмотрѣлъ.

— „Какъ же это, снова вамъ нездоровится?“ спросилъ онъ.

— „Не то, чтобы совсѣмъ нездоровилось“ — стараясь улыбнуться, отвѣтилъ Ліонель, „но, я былъ на кладбищѣ, и тамъ пономарь — копаетъ могилку для своей дѣвочки, которая скончалась отъ дифтерита, пока мы были въ Клеверли — она была совсѣмъ, со-

всѣмъ маленькая—только шесть лѣтъ ей было—и
я ее зналъ—ее звали Жесмина.“

Профессоръ Кадмон-Горъ былъ не много озадаченъ: апатичный, мѣрный голосъ, которымъ говорилъ мальчикъ, его странно потупленные глаза, измученное, нахмуренное лицо непріятно поразили его. Ничего не зная собственно о самой Жесминѣ, онъ не на ней остановилъ свою мысль, и рѣзко сказалъ:

—„Совсѣмъ не для чего вамъ слоняться по кладбищамъ—противныя, сырыя...“

—„Да“, перебилъ его Ліонель, улыбаясь странною улыбкою, „но однако всѣ мы тамъ будемъ—и насъ положить туда—гдѣ ползають черви—тѣмъ все и кончится...“

Раздраженіе профессора все росло.

—„Не говорите глупости, Ліонель!“ съ досадою пробормоталъ онъ, „сколько разъ я уже повторялъ вамъ, что говорить подобныя вещи неумѣстно!“

—„Отчего?“ спросилъ мальчикъ, „вѣдь, умираемъ мы всѣ—не такъ ли?“

—„Конечно, конечно, но нѣтъ никакой надобности объ этомъ думать,“ промолвилъ профессоръ.—
„Станемъ жить, пока живы, была любимая поговорка древнихъ Грековъ, которые умѣли наслаждаться и жизнью, и знаніемъ—поговорка мудрая, ее помнить и намъ не мѣшаетъ.“

— „Неужели въ самомъ дѣлѣ, вы это находите? Неужели?“ — какъ-то иронически спросилъ Ліонель. „Не сдается ли вамъ, что въ концѣ концовъ они были не что иное, какъ глупцы — все ихъ знаніе къ чему ихъ привело? — и они всѣ — умерли... *все безцѣльно* — и оттого нелѣпо и такъ невообразимо глупо!“

Профессоръ строго посмотрѣлъ на него.

— „Видно, что вы слишкомъ утомились“, съ притворною холодною замѣтилъ онъ. „Совѣтую вамъ пойти къ себѣ и прилечь; переутомлять себя теперь особенно вамъ вредно. И съ какой стати вамъ понадобилось идти на кладбище — смотрѣть, какъ роютъ могилу, я даже представить себѣ не могу.“

— „Я былъ на кладбищѣ,“ какимъ-то неестественнымъ голосомъ произнесъ Ліонель, — не для того, чтобы видѣть, какъ роютъ *ей* могилу, — а для того, чтобы видѣть *ее* самоё... Я думалъ, что она жива, — я не зналъ... я не могъ ожидать, что она...“ выговорить страшное *это* слово, онъ не могъ... онъ помолчалъ съ минуту, вѣрно закусивъ губы, и затѣмъ спокойно продолжалъ — „вы знаете, я уже столько разъ говорилъ вамъ, — я не могу себѣ объяснить, для чего намъ дана жизнь — это ожиданіе послѣдней казни — смерти... Все кажется объяснимо, кромѣ этого — даже вы не можете мнѣ сказать то, что я узнать хочу, — что же, остается мнѣ постараться самому вы-

яснить себѣ этотъ вопросъ,—онъ очень меня интересуетъ.“

Какъ-то странно, снова неестественно прозвучалъ его голосъ,—онъ приподнялъ свою шапочку и медленно направился къ дому.—

Профессоръ, съ безпокойствомъ, смотрѣлъ ему вслѣдъ,—предчувствіе чего-то недобраго, точно коснулось его...

— „Странный мальчикъ! очень странный!“ размышлялъ онъ про себя,—„но, вмѣстѣ съ тѣмъ и способный, и вдумчивый, и послушный... Только бы силы физической у него хватило, выработается изъ него человѣкъ крѣпкій, его ожидаетъ блестящая будущность,—одно, что здоровье у него плоховато.“ Онъ еще разъ прошелся большими шагами по аллеѣ и вдругъ остановился, добродушная улыбка освѣтила его морщинистое лицо. „Удивительное дѣло,—право удивительное,—мнѣ самому трудно повѣрить, но фактъ тотъ, что я этого мальчика полюбилъ! Да, положительно полюбилъ! Оно кажется и странно, и не правдоподобно, и я не постигаю, какъ это могло случиться—но сознаюсь, я его просто-на-просто—люблю!“ И онъ засмѣялся. Обыкновенно смѣхъ не придавалъ привлекательности его наружному виду, но на этотъ разъ, въ его потухшихъ глазахъ засвѣтилось *нѣчто такое*, что поистинѣ можно было-бы назвать—красотою.



Г л а в а XIV.

Настала ночь — тихая и ясная. Мѣсяца не было, — въ синевѣ небесъ царили однѣ звѣзды. На краю горизонта все было окутано прозрачною мглой — сквозь нее, какъ призракъ, выступали далекія горы и чудилось, что именно за ихъ нѣжными очертаніями лежитъ недосягаемый, волшебный край. Въ неподвижномъ воздухѣ пахло душистымъ клеверомъ и вновь скошенной травой; въ потемнѣвшей, но еще густой, зелени чувствовался какъ-бы намекъ на приближеніе осени, — а надо всѣмъ — стояла тишина — таинственная, невозмутимая — точно многомилліонные голоса природы вдругъ замолкли по велѣнію Того, Который во время оно воспрещалъ и бурѣ, и волненію воды...

Въ „большомъ домѣ,“ — такъ называли въ деревнѣ домъ, временно занимаемый м-ромъ Велискуртомъ, также царило глубокое молчаніе. Всѣ спали — только

не спалъ еще Ліонель. Онъ сидѣлъ на краю своей кровати, не было и помину сна въ его широко-раскрытыхъ глазахъ; лицо его разгорѣлось отъ внутреннего возбужденія, видно было, что напряжены всѣ нервы, что мозгъ сильно работаетъ,—но въ той улыбкѣ, которая изрѣдка появлялась на его полу-раскрытыхъ губахъ, сказывалось что-то совсѣмъ дѣтское, милое... что-то наивно-радостное.

Въ этотъ вечеръ онъ пошелъ спать въ обычный часъ. Онъ простился съ отцомъ, который, будучи занятъ чтеніемъ вечерней газеты, вскользь взглянулъ на него и едва кивнулъ ему головой. Простился съ профессоромъ Кадмон-Горомъ, который ласково пожалъ ему руку, и не отрывая глазъ отъ огромной книги, развернутой передъ нимъ, разсѣянно, безсознательно пробормоталъ:— „Прекрасно! да—да—конечно! Вы собираетесь идти спать, это хорошо!—прощайте!“

Простился онъ и съ Люси, что было для него совсѣмъ непривычно; съ лѣстницы онъ громко крикнулъ: „Люси, прощайте!“ и изъ далекой кухни донесся удивленный и обрадованный, пріятный ея голосъ:— „Прощайте, м-ръ Ліонель!“ Когда онъ пришелъ въ свою спальню, онъ не сталъ раздѣваться, только снялъ башмаки, и тихими, неслышными шагами началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ—мысли, такія всѣ странныя, тѣснились въ его головѣ, онъ

сыпались точно снѣжные хлопья—кружились, слѣплялись, снова расходились—принимая самыя разнообразныя, фантастическія формы... Онъ потушилъ свѣчу. Ему пріятно было *ощущать темноту*—въ темнотѣ такъ жизненно проявлялось все то, что внушало ему воображеніе! Напримѣръ, онъ представлялъ себѣ, что въ эту самую минуту съ нимъ его мать... что сидитъ она на самомъ томъ креслѣ, на которомъ сидѣла, когда, обнимая его такъ нѣжно, называла своимъ „бѣби...“ и до того сильно было возбужденіе, до котораго онъ довелъ себя, что онъ тихо опустился на колѣни передъ милымъ образомъ и произнесъ: „Мама! Мама, милая, я тебя люблю! Я любить тебя всегда буду...“ Онъ очнулся—и *вспомнилъ*... все это была лишь игра его воображенія: она отъ него ушла—онъ теперь совсѣмъ одинъ... Горько улыбаясь, онъ всталъ и подошелъ къ окну. Когда онъ вглядывался въ тихую, звѣздную ночь, ему вдругъ показалось, что тамъ, въ саду, подъ самымъ его окномъ, стоитъ, поднявъ къ нему свои лазурныя глазки—сама Жесмина... и что онъ явственно слышитъ, какъ она зоветъ его: „Лилиа! Лилиа! пойдѣмъ играть со мной!“—Онъ, было, поспѣшно раскрылъ окно, чтобы спрыгнуть къ неожиданной, милой гостьѣ... но—опомнился... Жесмина умерла—могилка ея готова—она больше никогда, никогда не позоветъ его!..

Изъ окна, у котораго онъ стоялъ, ему теперь казалось, что онъ такъ ясно видитъ ее... и жутко стало ему смотрѣть на это маленькое, жалкое привидѣніе, которое совсѣмъ одинокое стояло посреди большого, темнаго газона... онъ вздрогнулъ—и быстро отвернулся. Затѣмъ онъ забрался на свою высокую кровать и снова погрузился въ свои думы. Онъ слышалъ, какъ его отецъ, твердыми мѣрными шагами, поднимался по лѣстницѣ, какъ вошелъ онъ въ свою спальню, закрылъ и заперъ за собою дверь; какъ, вслѣдъ за нимъ, громко отгашливаясь и шлепая туфлями, профессоръ направился въ свои аппараты на томъ концѣ корридора; какъ старыя „дѣдушкины часы“ въ столовой пробили—одиннадцать. Послѣ этого водворилась тишина, та внушительная тишина, которая какъ бы таить въ себѣ все неразгаданное, неясное... къ ней Ліонель болѣзненно прислушивался, пока не стало ему страшно ея самой... онъ спрыгнулъ съ кровати, зажегъ свѣчу и, нервно озираясь, какъ бы боясь увидеть кого-то, поспѣшно прошелъ прямо къ большому шкафу, вдѣланному въ стѣнѣ. Онъ осторожно раскрылъ его и, ставъ на стулъ, досталъ съ верхней полки маленькій свертокъ: шелковый кушакъ, который при прощаніи оставила ему на память мать его. Развернулъ широкую голубую ленту и съ минуту, какъ-то нѣжно, вдумчи-

во смотрѣлъ на нее—затѣмъ снова ее свернулъ, за-
сунулъ ее за свою курточку, надѣлъ башмаки, взялъ
подсвѣчникъ съ зажженной свѣчей, чуть-чуть приотво-
рилъ дверь своей спальни и, притаивъ дыханіе, сталъ
прислушиваться... все было тихо... все въ домѣ было
погружено въ глубокій сонъ. Быстро, неслышно сбѣ-
жалъ онъ съ лѣстницы. Дверь классной комнаты сто-
яла настежь открытая, и когда онъ закрылъ ее за
собою, вздохнулъ свободнѣе, точно чувствуя себя бли-
же къ намѣченной имъ цѣли... Въ „классной“ было
свѣтлѣе, нежели въ его комнатѣ, деревья не засло-
няли оконъ, и черезъ большія стекла звѣзды лучисто
свѣтили серебристымъ свѣтомъ. Поставивъ подсвѣч-
никъ на конторку, у которой онъ провелъ, въ скуч-
ной работѣ, столько томительныхъ часовъ, Ліонель
вынулъ изъ нея бумагу и перо, и принялся писать.
Старательно исписавъ одинъ листокъ, онъ его акку-
ратно сложилъ, вложилъ въ конвертъ и надписалъ—
затѣмъ взялся за другой,—когда и второе письмо было
готово, онъ положилъ оба конверта рядомъ на столъ,
и съ какимъ-то наивнымъ самодовольствомъ взглянулъ
на красивый, изящный почеркъ, которымъ были над-
писаны адреса: *Моему отцу Джону Велискурту.*
Профессору Кадмон-Гору.

—„Да,“ сказалъ онъ вполголоса, тихо улыбаясь,
„это точно, какъ будто я собираюсь *сбѣжать!* А въ

сущности, вѣдь, *это* то же... конечно, я *сбѣжать* собираюсь.“ Улыбка его еще прояснилась. „Помню, Вилли Монтрозъ мнѣ совѣтовалъ не падать духомъ, а лучше бѣжать! Кстати—я, вѣдь, еще не переслалъ Вилли его Гомера!“ Онъ всталъ, досталъ съ полки книгу, обернулъ ее бумагой, надписалъ, и снова взялся за перо, чтобы изготавить третье письмо.

—„Милый Вилли,“ писалъ онъ, „уѣзжая, Вы были здѣсь свою любимую книгу—Гомера, я давно хотѣлъ вамъ ее переслать, но почему-то забывалъ. Теперь, безъ меня, она, пожалуй, могла-бы затеряться, и я поручаю профессору Гору (онъ очень хорошій старичокъ) вамъ ее доставить. Благодарю васъ за все—Вилли, вы были очень добры со мною, и я это всегда помнилъ, и думается, что *никогда* не забуду... Обо мнѣ, теперь, вамъ не надо беспокоится—мнѣ хорошо...

Благодарный и любящій
вашъ Ліонель.“

Вложивъ и это письмо въ конвертъ, онъ положилъ его на упокованную книгу, и тутъ же на отдѣльномъ листочкѣ написалъ нѣсколько словъ профессору Гору, прося его книгу препроводить по назначенію.

—„Ну, теперь—все,“ сказалъ онъ, обтирая перо и ставя чернильницу на мѣсто. „Мамѣ писать не для чего, ей письмо мое не передадутъ.“

Онъ всталъ, подошелъ къ окну и раскрылъ его. Была дивная ночь. Въ воздухѣ замеръ всякій звукъ, и такова была тишина, что не слышенъ сталъ даже прибой волны... Это была одна изъ тѣхъ ночей, когда вѣрующее сердце, подобно священному сосуду, полно елеемъ радованія, когда душа окрыляется и вдохновенно вторитъ ангельскому славословію,—когда *одухотворена* красота Божьяго міра и чувствуется, что добро жить, добро трудиться, добро любить,—что чудны всѣ дѣла Господни! Но *не тѣмъ* сказывалась эта благодатная ночь бѣдному ребенку, который глядѣлъ на ея красоту... Онъ видѣлъ въ природѣ лишь ужасъ противорѣчія,—борьбу и злобу вражьиxъ силъ,—безпрерывное, безмысленное творчество существъ, безцѣльно призываемыхъ къ бытію, и также безцѣльно, снова, возвращаемыхъ во мракъ небытія.

Изъ Катихизиса „свободнаго мышленія“, (Эдгаръ Монтейль), свода этики, который, за послѣдніе 10 лѣтъ, введенъ почти во всѣ начальныя школы Франціи, несчастныя маленькія существа, воспитанныя согласно правиламъ „атеизма“, узнаютъ, что „страсти человѣка суть самые надежныя его руководители“, и что „Богъ есть призракъ, придуманный попами для запугиванія людей слабоумныхъ.“ „*Разъ нынѣ дознано*“, вѣщаетъ авторъ Катихизиса, „что

душа есть нечто безличное и конечное,— жизни будущей нѣтъ.“ Содрогаешься при мысли, до чего можетъ довести это „новое“ исповѣданіе вѣры... Чтобы имѣть нѣкоторое понятіе о растлѣвающей и разрушающей его силѣ, достаточно хоть немного ознакомиться съ преніями совѣта Нантскаго учебнаго округа, члены котораго постановили слѣдующее: въ виду того, что число самоубійствъ въ средѣ подростковъ и малолѣтокъ, (о чемъ доселѣ не имѣлось у насъ и понятія!) достигло ужасающей цифры 443-хъ случаевъ за одинъ годъ, и въ виду неимовѣрно возрастающаго разврата и порока также межъ дѣтей,— мы торжественно даемъ клятву, что отнынѣ во всѣхъ школахъ здѣшняго округа, ученіе о нравственности будетъ идти рука объ руку съ ученіемъ о религіи,— что исполненіе обязанностей *къ Богу* будетъ служить основой всѣхъ остальныхъ обязанностей человѣка.“ Таково мудрое постановленіе Нантскаго учебнаго округа. Къ сожалѣнію, этому примѣру послѣдовала далеко не вся Франція. Почти во всѣхъ остальныхъ училищныхъ округахъ Катикизисъ „свободнаго мышленія“ продолжаетъ свое разрушительное дѣло,— готовить гибель націи, превращая человѣка въ нечто, несравненно худшее дикаго необузданнаго звѣря.

Ученіе Катикизиса „свободнаго мышленія“ нынѣ проникло и въ нѣкоторые гражданскія школы Англіи,

ибо миссіонеры сего новаго ученія не уступаютъ самымъ ретивымъ и ревностнымъ членамъ арміи спасенія въ умѣннѣ распространять лукавую свою пропаганду—такъ что теперь въ богобоязненной Англіи не рѣдко встрѣчаются люди, признавшіе истинной богохульную, мертвящую ложь, которая содержитсяъ въ этихъ словахъ: „Разъ нынѣ дознано, что душа есть нѣчто безличное и конечное—будущей жизни—нѣтъ.“ Однако душа „живая“ такому приговору не хочетъ подчиниться... и теперь, пожалуй, больше, чѣмъ когда либо, она *требуетъ*, чтобы ее признали! И именно въ силу своего безсмертія, стоя у преддверія *неведомаго*, громко вопіетъ: „Откройте! Откройте! Откиньте завѣсу, дайте узрѣть *то*, что давно я предугадала, что чувствую—что выразить не умѣю!...“ Ибо душа, какъ нѣкогда Психея, *ощущаетъ Божество*—и, среди мрака земного невідѣнія, трепетно ищетъ *осязать* то невидимое, въ чемъ она уже обрѣла себѣ радованіе... но не хватаетъ ея въ свѣтильникѣ знанія, тусклое его пламя не можетъ пролить свѣтъ на предвѣчное сіяніе—въ лучахъ его, оно само собою потухаетъ... Маленькій Ліонель устремивъ взоръ къ далекимъ звѣздамъ, которыя точно золотыя очи съ неба смотрѣли на него, *все это* смутно сознавалъ—и его душа „безсмертная“ страстно просила отвѣта на свои запросы—но не мудрованія

атеизма могли дать *его*: мысль *чистая*, осянненая свыше, *одна* способна удовлетворить требованія *просытающейся* души—и справедливо гласить итальянская пословица: „*Почему?* у дитяти есть *ключъ* къ чистѣйшей философіи.“ Горе тѣмъ, чье ученіе задерживаетъ ростъ молодой души въ ея стремленіи къ идеалу—они хуже убійць, и отвѣтъ будутъ держать за преступленіе хуже убійства—ибо сказано:—„Не бойтеся убивающихъ тѣло, и потомъ не могущихъ ничего сдѣлать, бойтеся того, кто по убіеніи имѣетъ власть ввергнуть въ геенну.“ *Умерщвляютъ душу* нынче стало любимымъ занятіемъ такъ называемыхъ „передовыхъ людей:“ распространяя свое пагубное вліяніе путемъ печати, они считаютъ цѣль свою достигнутою, когда читатель, погрязшій въ омутѣ пессимизма и атеизма, въ безконечной благодати перестаетъ видѣть Бога, видитъ лишь одно зло безконечное. Весьма прискорбно, что въ наше время нѣтъ такого анти-христіанскаго писателя, или писательницы, кто не располагалъ бы сочувствіемъ публики и не рассчитывалъ бы на одобреніе прессы—тѣмъ богохульнѣе, вульгарнѣе, *грязнѣе* произведеніе, тѣмъ шумнѣе оваціи его автору!... такъ что приходишь къ заключенію, что Катихизисъ „свободнаго мышленія“ дѣйствительно входитъ въ силу!... Чего добраго, скоро и мы сами, на вопросъ нашихъ дѣтей: „Кто сотво-

рилъ небо и землю?“ дадимъ такой отвѣтъ: „Ни небо, ни вселенная—сотворены *не были*—первой причины *нѣтъ*, ибо все, что *научно* доказано быть не можетъ—не имѣетъ бытія...“

Въ *этомъ*-то заключалась вся бѣда мальчика Ліонеля: онъ *не могъ* „научно доказать“ то, присутствіе чего *ощущалъ*, и не могъ отречься отъ этого неосвязаемаго „нѣчто“, въ которомъ—самъ чувствовалъ—было для него *все!*

Ребенокъ продолжалъ задумчиво глядѣть въ звѣздную бездну, и впечатлѣніе чего-то безпредѣльнаго—безпредѣльной красоты творенія и создавшей его Любви, мало-по-малу захватывало его душу и, какъ привѣтъ изъ міра иного, вносило въ нее—тишину.

— „Да“, тихо промолвилъ онъ. „Какъ это чудно хорошо!..—какъ подумаешь, что скоро я все *это* самъ узнаю—не чудно ли хорошо и *это*. И вдругъ встрѣтить меня тамъ Жесмина милая... кто знаетъ?.. Быть можетъ, не хорошо, что я хочу *узнать* все скорѣе... но право, *такъ* жить я больше не могъ—учиться, учиться день изо дня всему ненужному, и только объ *одномъ* никогда не слышать!“

Вдругъ онъ нервно обернулся и окинулъ глазами комнату: блѣдный звѣздный свѣтъ неравномѣрно освѣщалъ ее, частью она оставалась въ тѣни; на темномъ дубовомъ потолкѣ одинъ изъ большихъ крюковъ стро-

пиль, освѣщенный снизу колыхающимся пламенемъ свѣчи, какъ-то особенно выдѣлялся и обратилъ на себя вниманіе Ліонеля. Съ какимъ-то любопытствомъ подошелъ онъ ближе, сталъ на стулъ и началъ разсматривать крюкъ, ощупывая его рукою—грустная, задумчивая улыбка чуть замѣтно проскользнула по губамъ его; вспомнилось ему прелестное Клеверли—и тотъ прохожій, который повѣсился подъ старымъ навѣсомъ, вспомнились и слова стараго матроса: „ничего нѣтъ легче—былъ бы только гвоздь да шарфъ...“ И—тихо, съ какою-то *нужностію* вынулъ онъ изъ-подъ своей курточки послѣдній подарокъ матери—прелестный голубой кушакъ ея „баби“—онъ развернулъ его во всю длину, однимъ концомъ продѣлъ въ большой крюкъ, на другомъ завязалъ петлю, и сошелъ со стула, однако оставивъ его подъ спускавшеюся, тихо колыхавшеюся лентой... затѣмъ, пугливо озираясь, задулъ свѣчу.... Изъ полумрака комнаты, среди которой онъ стоялъ, взглядъ его инстинктивно обратился къ полосѣ свѣта, мерцавшаго сквозь окна—спотыкаясь, онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ—туда,—гдѣ виднѣлся уголокъ открытаго неба, и тихо свѣтили звѣзды—и упалъ на колѣни. Сложивъ руки, онъ поднялъ свое блѣдное, вопрошающее, взволнованное личико къ величавымъ ночнымъ свѣтиламъ, которыя таинственно совершали путь свой въ небе-

сахъ — и наболѣвшее, надрывающееся его сердце, въ словахъ молитвы, высказало себя....

— „Всемогущій Атомъ!“ тихо началъ онъ, „я хочу молиться, хотя я еще никогда не молился, и не знаю, какъ молятся другіе... Можетъ быть, ты *не можешь* слышать меня, а если бы и могъ, то не захотѣлъ бы—но все же я, вѣдь, чувствую, что есть кто-то, кому я долженъ высказать себя... О! милый Атомъ! если же въ концѣ концовъ откроется, что ты вовсе не Атомъ—а *Богъ*, Богъ живой, добрый, любящій, сострадательный ко всѣмъ бѣднымъ людямъ, которыхъ Онъ сотворилъ—ты и меня пожалѣешь... ты поймешь, отчего я иду искать тебя... вѣдь, я не виновенъ въ томъ, что мнѣ жить здѣсь такъ страшно, что я такъ хочу знать, есть ли что лучше этого міра, въ которомъ мы никогда не можемъ сберечь себѣ то, что мы любимъ, гдѣ все подлежитъ смерти и забвенію... О! если ты Богъ, я знаю, тебѣ будетъ жаль меня! Я всегда такъ хотѣлъ вѣрить въ тебя, какъ въ—*Бога*—и такъ бы любилъ тебя—если бы *они* не запрещали!.. Если же, вправду, ты не что иное, какъ—Атомъ, я не понимаю, для чего ты нуженъ, и все же кажется мнѣ, что и *тебя кто-нибудь* да сотворилъ... И вотъ, *это* я долженъ узнать—и узнаю...”

Голосъ его оборвался, онъ немного помолчалъ и затѣмъ продолжалъ снова:

— „Въ эту минуту, не знаю почему—я чувствую, что Ты долженъ быть Богъ... Богъ Благий, Вѣчный, Живый... Ты будешь милостивъ ко мнѣ, и меня Ты возьмешь прямо къ себѣ, какъ взял маленькую Жесмину, и мнѣ покажешь, гдѣ Твои Ангелы! И если я сдѣлалъ что дурное—мнѣ думается, что Ты простишь, Ты, вѣдь, знаешь, что меня учили не вѣровать въ Тебя. Бѣдные тѣ люди, которые доказываютъ, что Ты не имѣешь бытія,—что-то они почувствуютъ, когда имъ придетъ пора умирать! Простишь ли Ты имъ тогда все зло, ими содѣянное *другимъ*? потому что не я же одинъ, а многіе, многіе другіе страдаютъ и плачутъ и томятся отъ словъ ихъ.—Вотъ бѣдный Рубень, онъ плачетъ *иначе*—Онъ зоветъ Тебя и вѣрить, что въ свѣтломъ мірѣ радости, отдашь Ты ему его Жесмину. Итакъ—не къ Атому, а—къ *Богу* вознесу я теперь свою первую и послѣднюю молитву съ земли: Господи! не оставь мою маму! Когда я приду къ Тебѣ, укажи мнѣ, какъ мнѣ беречь ее. Если, какъ Жесмина, и я буду Ангеломъ—я бы могъ всегда быть съ бѣдной моей мамой и охранять ее отъ зла... Самъ я не сдумѣлъ это устроить—мнѣ думается, что никто, самъ по себѣ, ничего не можетъ—одинъ Ты все можешь—помоги мнѣ хранить мою маму! *Они* не хотѣли, чтобы я видѣлъ въ Тебѣ Бога, я *чувствую* Тебя, но не знаю, могу ли

вѣрить своему чувству—и вотъ—*это* я узнать хочу— и другого пути—нѣтъ.... Кто бы Ты ни былъ, Ты, Который создалъ звѣзды и небо, и солнце, и море, и цвѣты, и всю красоту—иду къ Тебѣ! Если ничто созданное Тобою не погибаетъ, и мнѣ Ты не дашь погибнуть.... Ты взыщешь меня—и я найду Тебя... Жить такъ страшно... а къ Тебѣ идти мнѣ не страшно, Господи!...”

Какъ-то страстно прозвучали эти слова въ безмолвіи ночи, и казалось, что, кѣмъ-то подхваченныя, унеслись онѣ въ небесную глубь... Ліонель же все стоялъ неподвижно на колѣняхъ, устремивъ глаза на ясныя звѣзды, которыя также ясно отражались въ нихъ...

— „Сказать-ли мнѣ что еще?“ задумчиво прошептала онъ. „Да я скажу то, что сказала бы маленькая Жесмина, еслибы она теперь здѣсь была.“ Свѣтлая улыбка, предвѣстница улыбки ангельской, озарила святой радостью изнуренное, блѣдное его личико— и тихимъ, нѣжнымъ голосомъ онъ внятно повторилъ трогательный стихъ:

„Къ Себѣ дѣтей Ты кротко звалъ—
Смотри, какъ бѣденъ я и малъ!
Склонись, Христось, къ моей мольбѣ—
Христось! прими меня къ Себѣ!“

Затѣмъ, взглянувъ еще разъ на звѣзды и небо и на всю красоту спящаго міра—онъ всталъ и пробрался къ тому мѣсту, надъ которымъ съ потолка спуска-

лась широкая, голубая лента. Онъ остановился, пристально посмотрѣлъ вверхъ—вспомнивъ, что дверь не совсѣмъ была притворена, подошелъ къ ней, закрылъ ее и заперъ на ключъ, и—малый ребенокъ, измученный страшной тайной жизни, безстрашно вступилъ на путь, который, согласно его чаянію, долженъ былъ привести его къ Тому Богу, Котораго жаждала душа его, Котораго людская гордыня и людская злоба силились у него отнять.

Послышался глухой звукъ, какъ-бы шумъ отъ опрокинутаго стула... а затѣмъ—ничто уже не нарушало тишины—только чѣмъ-то зловѣщимъ, точно холодомъ вдругъ повѣяло отъ нея... то пролеталъ, незримымъ полетомъ, великій Ангелъ смерти...





Глава XV.

Было раннее утро. Горы, поля, нивы—все стояло залитое золотистымъ свѣтомъ, и съ моря игривый вѣтерокъ навѣвалъ какую-то особенно живительную свѣжесть на молодое, просыпающееся утро. Все казалось полно жизни, полно радости: весело звенѣли косы косцовъ, весело раздавался хохотъ дѣвушекъ и парней, раскидывавшихъ граблями вновь скошенное сѣно,—весело жужжали пчелы и щебетали птицы.

Когда м-ръ Великуртъ спустился въ столовую въ утреннему чаю, онъ на столько поддался вліянію этого жизнерадостнаго утра, что самъ широко раскрылъ двери на балконъ, дабы живительный воздухъ, который онъ въ себя вдыхалъ съ видимымъ наслажденіемъ, могъ проникнуть и во внутрь комнатъ.

На этотъ разъ онъ чувствовалъ себя довольнымъ порядкомъ природы и, въ отличномъ настроеніи духа,

собирался сѣсть за чайный столъ, когда вдругъ въ столовую вбѣжала горничная Люси, и дрожащимъ отъ волненія голосомъ, несвязно пояснила, что мистера Ліонеля нѣтъ въ его спальнѣ, что постель его стоитъ нетронута, а дверь въ „классную“ заперта на ключъ...

— „Ахъ, сударь!“ уже навзрыдь рыдая, продолжала она, „мнѣ сдается, что случилось что-то ужасное... вѣдь, онъ, голубчикъ дорогой, за это время все чувствовалъ себя нехорошо...“

— „Кто чувствовалъ себя нехорошо? Что случилось?“ нетерпѣливо спросилъ профессоръ Кадмон-Горъ, появившись внезапно на порогѣ столовой.

М-ръ Велискуртъ обратился къ нему и, зеленѣя отъ ярости, сказалъ:

— „Оказывается, что Ліонеля нѣтъ въ его комнатѣ, и, по показанію горничной, онъ въ своей спальнѣ вовсе не ночевалъ! Очевидно“, — тутъ его глаза какъ-то сѣузились на подобіе змѣиныхъ, и сверкнули зловѣщимъ огнемъ, — „онъ послѣдовалъ примѣру матери и *сбѣжалъ*!“

— „Пустяки!“ рѣзко возразилъ профессоръ. „Не таковъ мальчикъ! Онъ слишкомъ благороденъ... слишкомъ честенъ... Скорѣе всего, что вслѣдствіе сонной ночи ему захотѣлось немного освѣжиться, и онъ вышелъ прогуляться до чая, — что же тутъ удивительнаго?“

— „Горничная говорить, что дверь классной комнаты заперта на ключъ,“ хмура брови, продолжалъ м-ръ Велискуртъ и, обращаясь къ перепуганной Люси, спросилъ: „а, какъ она заперта,—снаружи, или изнутри? ключъ вынуть-ли?“

— „Нѣтъ, сударь, ключъ въ замкѣ, и дверь заперта изнутри, именно это и удивительно! Сколько я ни стучала, сколько ни звала,—все напрасно! Вѣдь, возможно, что съ мистеромъ Ліонелемъ сдѣлался обморокъ—и теперь лежитъ онъ тамъ, совсѣмъ одинъ... О! это было-бы ужасно!...“ и она залилась слезами.

— „Прочь съ дороги!“ съ раздраженіемъ закричалъ ей профессоръ. „Дайте-же мнѣ пройти! я самъ разслѣдую, что все это значить! Дверь эту я знаю, замокъ въ ней чуть держится,—достаньте скорѣе молотокъ, мнѣ не трудно будетъ раскрыть ее!“

• Онъ быстрыми шагами направился къ классной,—Велискуртъ слѣдовалъ за нимъ—Люси побѣжала въ оранжерею за молоткомъ и скоро вернулась въ сопровожденіи садовника, который кромѣ молотка захватилъ съ собою и другіе слесарные инструменты.

— „Ліонель!“ громко окликнулъ профессоръ.

Отвѣта не было.

Только въ тишинѣ, до напряженного слуха, донеслась нѣжная, далекая пѣснь какой-то перелетной птички... Объятый, ему самому непонятнымъ, ужа-

сомъ, профессоръ Кадмон-Горъ оглянулся на Велискурта.

— „Не лучше-ли вамъ уйти отсюда?“ шопотомъ сказалъ онъ, — „если-бы случилось, что мальчикъ...“ —

Но Велискуртъ не далъ ему досказать. —

— „Повѣрьте, беспокоиться не объ чемъ,“ принужденно улыбаясь недоброю улыбкою, возразилъ онъ, „это не что иное, какъ *уловка*, — онъ достойный сынъ своей матери и обладаетъ ея умѣньемъ проводить людей: онъ заперъ дверь лишь для того, чтобы насъ озадачить, — а самъ преспокойно выскочилъ изъ окна. Вотъ это всего вѣроятнѣе!“

Профессоръ ничего не отвѣтилъ и вмѣстѣ съ садовникомъ приступилъ къ дѣлу: дѣйствительно, оказалось, что замокъ былъ ветхій, для взлома его не много потребовалось усилий — черезъ нѣсколько минутъ онъ отлетѣлъ, и дверь съ трескомъ распахнулась — затѣмъ — раздирающій крикъ Люси... и...

— „Боже мой! Боже мой!“ отчаянно простоналъ профессоръ, призывая того Бога, бытіе Коего онъ такъ упорно отрицалъ... „Велискуртъ — уходите, уходите!... не смотрите — ахъ, не смотрите... мальчикъ повѣсился!“

Но Велискуртъ, отстраняя его рукою, быстро прошелъ въ комнату — и остановился... ужасающее зрѣлище представилось его взорамъ — зрѣлище, при

видѣ котораго содрогаются и плачутъ Божіи Ангелы...—бездыханный трупъ ребенка, придержанный широкой, нѣжно-голубой лентой, тяжело свѣшивался съ потолка...

„Этотъ ребенокъ — неужели былъ его сынъ? Его сынъ?—волю котораго, онъ думалъ, что сумѣлъ всецѣло покорить себѣ... Его сынъ?—изъ котораго, въ угоду личному своему честолюбію, онъ намѣревался выработать нѣчто необыкновенное по развитію ума и обширности знаній—и невольно припомнились ему слова его жены: „Рано, или поздно, я онъ вырвется отъ васъ.“

Онъ, какъ во снѣ, слышалъ громкое рыданіе Люси — и совершенно хладнокровно слѣдилъ за каждымъ движеніемъ профессора, который, вмѣстѣ съ садовникомъ, принялся бережно развязывать шелковую, голубую ленту, произвольно превращенную въ орудіе казни, и затѣмъ бережно и нѣжно опустилъ на землю бездыханное тѣло бѣднаго ребенка. Дрожащей, старческой рукой, профессоръ ощупалъ молодое сердце, которое давно уже перестало биться, приставилъ зеркало къ холоднымъ, сжатымъ губамъ, надѣясь уловить хоть признакъ дыханія—все было напрасно... Ліонель, видно, сразу погрузился въ необъятную тайну — для него уже больше не было возврата!

— „Боже мой!“ снова отчаянно простоналъ профессоръ, и слезами наполнились его старческіе глаза: „до чего его довели!... бѣдный, бѣдный мальчикъ!“

Тутъ м-ръ Велискуртъ впервые заговорилъ:

— „Что же — признаковъ жизни — нѣтъ?“ какъ-то невнятно произнесъ онъ.

— „Нѣтъ — нѣтъ никакихъ... и что это за ужасъ... Люси — голубушка, пожалуйста, не плачьте вы *такъ*, — безъ того мое сердце надрывается... лучше помогите мнѣ уложить его сюда — на диванъ — да, вотъ такъ — такъ будетъ лучше... Господи! какой конецъ! и со-всѣмъ, вѣдь, малый ребенокъ!... Это страшно! Это чудовищно! Велискуртъ, до чего мнѣ жаль васъ! Прелестный былъ онъ ребенокъ!“...

Профессоръ отвернулся и закрылъ лицо руками. Люси, наклонясь надъ тѣломъ Ліонеля, горько плакала: она скрестила ему на груди маленькія его ручки, нѣжно пригладила его шелковистые волосики и вдругъ снова громко зарыдала, пораженная выраженіемъ, которое теперь только примѣтила на миломъ личіи: что-то *незнакомое* — строгое, торжественно таинственное, сказывалось въ чертахъ его — но на устахъ, вызывая умиленіе, какъ-бы *чувствовалась* свѣтлая улыбка неизъяснимой радости...

— „Временное умопомѣшательство, это очевидно,“ — отчеканилъ Велискуртъ мѣрнымъ голосомъ. —

„Подобныя явленія констатируются изрѣдка и въ дѣтскомъ возрастѣ — и...“

Онъ вдругъ остановился — и слегка вздрогнулъ — какъ-то жутко было ему видѣть передъ собой это бездыханное тѣло — онъ даже не могъ рѣшиться подойти ближе къ нему — оно внушало ему непреодолимое отвращеніе — онъ желалъ-бы скорѣе, какъ можно скорѣе спрятать его — далеко — туда — въ землю... чтобы никогда больше не вспоминался ему этотъ жалкій, страдальческій образъ, въ присутствіи котораго онъ, почему-то, не могъ послѣдовательно и ясно выражать свое матеріалистическое толкованіе — о неожиданно случившемся „инцидентѣ.“ Къ тому же, глядя на бранные останки своего сына, онъ съ негодованіемъ спрашивалъ себя — чья же это воля постоянно становилась поперекъ воли его, чья воля разрушила его заветныя мечты.

— „Посмотрите,“ вдругъ сказалъ онъ, обращая вниманіе профессора Кадмон-Гора на письма, которыя лежали на конторкѣ, — „два письма — одно, на ваше имя, другое — на мое.“

Онъ какъ-то нерѣшительно, точно нехотя, взялся за конвертъ, надписанный на его имя и, раскрывая его, украдкой бросилъ взглядъ на своего мертваго сына... — Что писалъ ему мальчишѣ въ этомъ письмѣ?

Обвинялъ-ли его, поясняя, что именно довело его до страшнаго рѣшенія?...

Ни поясненія, ни упрека въ письмѣ не было— оно содержало въ себѣ лишь слѣдующее:

„Вы часто мнѣ говорили, что по смерти человѣка совершенно безразлично, что станетъ съ его тѣломъ: предастся-ли оно землѣ, будетъ-ли сожжено, или брошено въ море, оттого я бы очень просилъ васъ дозволить, чтобы мое тѣло было погребено на Коммортинскомъ кладбищѣ. Псаломщикъ Рубень прекрасно умѣетъ рыть могилы—мнѣ-бы хотѣлось, чтобы онъ вырылъ мнѣ могилу рядомъ съ могилкой его дѣвочки—Жесмины. Я съ ней игралъ и любилъ ее. Теперь она умерла, и я тоже: вамъ не можетъ быть неприятно, что буду лежать рядомъ съ ней—потому что о мертвыхъ не стоитъ заботиться. Мертвыхъ всѣ скоро забываютъ, и вы меня забудете. Я не могъ—*право*, не могъ дольше *такъ* жить...

„Еще я бы хотѣлъ, чтобы со мной положили голубую мою ленту—и, если вы найдете возможнымъ, когда-нибудь передайте моей мамѣ, что я ее люблю.

Вашъ сынъ

Ліонель Велискуртъ.“

Тѣмъ временемъ, профессоръ, нервно кашляя и поминутно протирая очки, читалъ письмо, писанное къ нему.

„Дорогой профессоръ! Очень, очень благодарю васъ за то, что вы теперь стали такой добрый со мной—вначалѣ, я знаю, вы меня не любили. Я надѣюсь, что вы не слишкомъ строго меня осудите за то, что я рѣшилъ, что не могу дальше *такъ* жить... Вѣдь, пришлось бы мнѣ учиться долгіе, долгіе годы, пока я научился бы всему тому, что нужно знать ученому—и я чувствую, что учиться, не зная, *для чего* учись, это меня только бы измучило... понятно, что каждому важнѣе всего узнать хоть что-нибудь о *Боге*—но даже вы ничего мнѣ объяснить не могли... Если бы *это* было объяснено, была бы цѣль стараться быть и умнымъ, и добрымъ, а *такъ*, право, трудиться не стоитъ—выходить лишь напрасная трата времени... Много я обо всемъ этомъ думалъ, и вотъ теперь, когда ушла отъ меня моя мама, когда умерла милая, маленькая Жесмина, мнѣ стало какъ-то еще *страшнѣе* постоянно слышать, что есть только Атомъ—которому до всего все равно... я не хочу этому вѣрить... и я хочу теперь пойти къ Богу—Онъ объяснить мнѣ все то, что здѣсь никто мнѣ объяснить не хочетъ—меня не удивить, если я пынче же *найду* Его—потому что, вотъ въ эту самую минуту, я такъ чувствую Его близость...

„Помните-ли, какъ мы жили съ вами въ миломъ Клеверли, какъ вы рассказали мнѣ однажды про Пси-

хею и Эроса? Вотъ и я, какъ Психея, все старался *увидать* при слабомъ свѣтѣ своего маленькаго свѣтильника, но теперь мнѣ думается, что лучше совсѣмъ его потушить—свѣтъ Божій самъ все просвѣтитъ...

„Вы знаете, дорогой профессоръ, что ученые книги, которыя мы вмѣстѣ изучали, всѣ полны противорѣчія—однѣ утверждаютъ одно, другія другое, третьи и то и другое опровергаютъ, такъ что приходится, смущаясь всякими глупыми, нелѣпыми доводами, до безконечности мучить себя, никогда не достигая *того*, чего жаждешь—понятія о Богѣ... а я, вѣдь, оттого хочу идти къ Нему, что *чувствую*, что Онъ *есть*... Милый, милый профессоръ, подумайте хорошенько *объ этомъ*, и не рѣшайте окончательно, что есть только—Атомъ! Видите-ли, вы, вѣдь, не *совсѣмъ* таки увѣрены, что Бога *нѣтъ*—а если Онъ есть—и живетъ Онъ въ своемъ дивномъ селеніи, и душа наша живая, послѣ смерти, какъ ангель, отлетаетъ къ Нему—я теперь сталъ бы *тамъ* васъ ожидать и былъ бы такъ радъ васъ опять увидѣть! Сначала и я васъ не любилъ—но въ Клеверли очень, очень полюбилъ! Я даже собирался просить отца позволить мнѣ всѣ годы моего ученія провести съ вами—но когда умерла маленькая Жесмина, все во мнѣ измѣнилось: не могу я *повѣрить*, чтобы вдругъ совсѣмъ не стало такого милаго созданія—что *нѣтъ* Жесмины—*нидѣ*—и я

думаю, что Богъ добрый, и мнѣ скажетъ... Итакъ, прощайте, милый, дорогой профессоръ. Если будете опять учить маленькихъ мальчиковъ, мнѣ вѣжется, что всего лучше было бы вамъ научить ихъ *вѣровать въ Бога*—въ Бога, Который все создалъ и всѣхъ любить и Самъ откроетъ намъ въ свое время великую тайну творенія—тогда на сколько радостнѣе жилось бы имъ! Конечно, вамъ надо *это* все хорошенько обдумать, но все же, *ради меня*, не забудьте *это*, когда начнете учить другого мальчика,—пусть не будетъ онъ такой несчастный, какъ я! Еще и еще благодарю васъ за вашу ко мнѣ доброту и остаюсь

вамъ благодарный воспитанникъ вашъ

Ліонель Велискуртъ.“

Къ чести профессора будь сказано,—онъ не стыдился слезъ, которыя неудержимо, одна за другой, катились по морщинистому его лицу, пока онъ читалъ эту странную предсмертную исповѣдь скорбной дѣтской души, которая столь наивно выражала свою жалобу на безжалостность людей и свое упованіе на невѣдомаго, ощущаемаго ею—Бога. Утирая глаза своимъ большимъ, пестрымъ фуляровымъ платкомъ, онъ обернулся въ сторону Велискурта и съ глубокимъ состраданіемъ посмотрѣлъ на него. Велискуртъ стоялъ неподвижно, вперивъ глаза въ своего умершаго сына. *Почувствовавъ* устремленный на него взоръ

профессора, онъ какъ-то смутился и медленно произнесъ:

— „Удивительно это проявленіе сходства по наступленіи смерти! До чего этотъ мальчикъ, въ данную минуту, напоминаетъ свою мать! Вылитый ея портретъ! Была она всегда съ придурью—и онъ закончилъ явнымъ сумасшествіемъ! Ея вкусы всегда были низкіе, не соотвѣтствовали ея положенію въ обществѣ, вотъ и онъ не нашелъ лучшаго предсмертнаго желанія, какъ быть похороненнымъ рядомъ съ какой-то маленькой дѣвчонкой, дочерью нищаго пономаря! Конечно, подобному желанію я не придаю ни малѣйшаго значенія: тѣло будетъ отправлено въ наше родовое имѣніе и погребено въ фамильномъ склепѣ!“

— „Велискуртъ! постыдитесь вы этихъ своихъ словъ!“ въ порывѣ негодованія съ жаромъ воскликнулъ профессоръ. „Да, у васъ, видно, и сердца—нѣтъ!... Какъ можете вы, въ самомъ присутствіи своего умершаго ребенка,—даже подумать отказать смиренной, столь ничтожной просьбѣ! Не все-ли вамъ равно, гдѣ бѣдный мальчикъ будетъ похороненъ! Во всю его жизнь вы ничѣмъ не порадовали его—кроткій, послушный, онъ безпрекословно исполнялъ всѣ неимовѣрныя ваши требованія—даже я, который извѣстенъ всей Англіи строгостью дисциплины моей системы воспитанія, я былъ пораженъ суровостью предписаній, вошедшихъ

въ планъ воспитанія вашего сына, и счелъ ихъ *не* выполнимыми... я рѣшилъ, и разговоръ мой съ д-ромъ Гартлеемъ подкрѣпилъ мое рѣшеніе, что я не дамъ вамъ 'этого ребенка въ обиду—что сберегу это нѣжное, маленькое существо—и дѣйствительно, я всячески берегъ его—но, Боже! я упустилъ изъ вида—*главное*... да не вмѣнится мнѣ *это* въ преступленіе!...

— „Я крайне изумленъ слышать отъ васъ подобныя рѣчи, профессоръ!“ сдержанно произнесъ Великуртъ. „Сдѣлайте милость, успокойтесь! Вы были дѣйствительно весьма снисходительны и добры къ моему сыну, и, конечно, если это можетъ для васъ быть пріятно—я исполню безумное его желаніе—но не считать его таковымъ не могу! Я полагаю, что мнѣ слѣдуетъ съѣздить къ д-ру Гартлею и ему поручить вести это дѣло.—Конечно, будетъ наряжено слѣдствіе—весьма скучная это процедура.“

Профессоръ выслушалъ его до конца, и съ горечью тихо промолвилъ:

— „Великуртъ, вы никогда не любили своего сына.... Если бы любили, не могли бы вы такъ говорить—*теперь*...“ и онъ указалъ на диванъ, на которомъ покоился кроткій обликъ какъ-бы тихо уснувшего ребенка...

Холодно и спокойно Великуртъ отвѣтилъ:

— „О любви тутъ не для чего поминатъ— въ отношеніяхъ отца къ сыну нѣтъ мѣста сентиментальности. Правда—я отъ своего сына ожидалъ многого—но теперь вполне сознаю, что въ немъ пришлось бы мнѣ горько разочароваться... разсудокъ его былъ слабый—вслѣдствіе этого онъ, безъ малѣйшаго къ тому повода, самъ лишилъ себя жизни—да, пожалуй, лучшаго онъ ничего и сдѣлать не могъ.... Однако, пора мнѣ разыскать д-ра Гартлея“.

Не торопясь, ровнымъ, привычнымъ шагомъ онъ вышелъ изъ комнаты. Выраженіе холоднаго, бездушнаго его лица само за себя говорило—другого обличенія не требовалось....

Профессоръ Кадмон-Горъ остался одинъ—тихо, благоговѣнно подошелъ онъ ближе къ маленькому покойнику, и погруженный въ глубокую думу, скоро потерялъ изъ виду и себя самого, и всѣ свои „теоріи.“ Съ любовью и умиленіемъ глядѣлъ онъ на милыя черты кроткаго дѣтскаго личика и вполголоса проговорилъ:

— „*Лучшаго онъ сдѣлать не могъ... Да! пожалуй, что такъ... пожалуй, что такъ!... бѣдный мальчишъ—съ такимъ отцомъ, съ такою матерью, и съ такимъ—воспитателемъ... кто знаетъ, насколько и я виноватъ передъ нимъ...*

Тутъ послѣдовало нѣчто весьма странное — нѣчто прямо изумительное — профессоръ приподнялъ на руки мертваго мальчика, нѣжно прижалъ его къ себѣ, и, цѣлуя его холодную головку, громко сказалъ:

— „Да, Ліонель, я *это* общаю! Я общаю, ради тебя, что когда придется мнѣ учить другого мальчика, я напередъ обдумаю, не будетъ-ли лучше и разумнѣе сперва довести его до познанія Бога Люви — а тамъ — Самой этой Люви поручить его!...





Глава XVI.

Трагичная исторія несчастнаго ребенка быстро облетѣла всю деревню и то чувство состраданія, которое присуще человѣческому духу, какъ электрическій токъ, передавалось изъ дома въ домъ, изъ сердца въ сердце, такъ что въ Коммортинѣ не было ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, кто-бы не былъ растроганъ, до неизъяснимой жалости, безвременной кончиной бѣднаго мальчика.

Протоколъ, составленный комиссией, производившей слѣдствіе, гласилъ, что „самоубійство было совершено въ минуту умопомѣшательства.“ Д-ръ Гартлей, вызванный въ качествѣ эксперта, заявилъ, что мальчикъ былъ доведенъ до страшнаго преступленія переутомленіемъ мозга, причиненнымъ несоразмѣрными его силамъ умственными занятіями. Это мнѣніе подтвердилъ самъ профессоръ, но онъ не счелъ умѣстнымъ тутъ-же высказать то убѣжденіе, которое

слагалось въ душѣ его и все сильнѣе и сильнѣе овладѣвало имъ: что *отсутствіе религіознаго начала въ воспитаніи*, а не что иное, довело до гибели эту молодую жизнь.

Наконецъ настало и утро похоронъ. Весь Коммортинъ, отъ мала до велика, участвовалъ въ проводахъ Ліонеля.

Рубень Дейль, рядомъ съ могилкой дорогой своей дѣвочки, приготовилъ новую могилку, и теперь, опираясь на свою лопату, сквозь слезы смотрѣлъ на благоговѣнно стоявшую толпу и трепетно слушалъ, какъ старичокъ священникъ, голосомъ часто прерывавшимся отъ волненія, тихо читалъ столько уже разъ имъ слышанныя, торжественно-побѣдныя слова:—

— „Такъ и при воскресеніи мертвыхъ. Сѣется въ тлѣніи, востаетъ въ нетлѣніи; сѣется въ униженіи, востаетъ въ славѣ; сѣется въ немощи, востаетъ въ силѣ; сѣется тѣло душевное, востаетъ тѣло духовное... Когда-же тлѣнное сіе облечется въ нетлѣніе, и смертное сіе облечется въ безсмертіе, тогда сбудется слово написанное: Смерть! гдѣ твое жало? адъ! гдѣ твоя побѣда?“

Профессоръ Кадмон-Горъ стоялъ, опустивъ голову, и съ какою-то нѣжностью глядѣлъ на то мѣсто, куда, весь покрытый цвѣтами, былъ опущенъ гробикъ Ліонеля. Цвѣтовъ было великое множество, вся де-

ревня этими цвѣтами принесла свою дань любви милому мальчику. Среди вѣнковъ особенно выдѣлялась прелестная гирлянда душистой жимолости, которую свила добрая м-съ Пейнъ, оборвавъ до послѣдняго, всѣ цвѣты своего садика;— бѣдный „юродивый“ дурачокъ также принесъ свой даръ — длиннѣйшую вѣтку прелестныхъ, бѣлыхъ розъ — а Рубенъ Дейль опустилъ въ могилку вѣточку бѣлаго жасмина, даръ самый скромный, но, по скрытому своему значенію, самый дорогой... Старичокъ священникъ продолжалъ читать, и глаза профессора затуманились слезами — сердце его прислушивалось — и въ себѣ слагало тихое слово, которое раздавалось среди сдержанныхъ рыданій...

— „Въ упованіи, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ, по неизреченному Своему милосердію, пріялъ къ Себѣ душу усопшаго раба Своего, отрока Ліонеля, мы предаемъ тѣло его землѣ.. Мы вѣруемъ непременно въ воскресеніе мертвыхъ и въ жизнь вѣчную въ раи сладости, въ селеніяхъ счастливыхъ, тамъ, гдѣ присѣщаетъ свѣтъ лица Божія!“

М-ръ Велискуртъ презрительно нахмурилъ брови — сердце его пылало злобою... ему была противна обстановка, въ которой онъ противъ своей воли находился, ненавистный ему церковный обрядъ, согласно которому предавалось землѣ тѣло его сына, возмущалъ

его! Когда при чтеніи „Отче нашъ“ всѣ присутствующіе опустили на колѣна, онъ гордо выпрямился и презрительно взглянулъ на профессора, который, по преклонности лѣтъ не будучи въ состояніи преклониться долу, низко склонилъ голову въ знакъ благоговѣнія.

Наконецъ, служба кончилась. Добрый старичокъ священникъ какъ-то особенно молитвенно и трогательно произнесъ обычное благословеніе—благословилъ могилку—затѣмъ, предоставивъ Рубену докончить дѣло погребенія, нетвердой, старческой поступью направился къ церкви. Толпа стала тихо расходиться—иные украдкой утирали слезы, оглядываясь на могилку, иные, въ томъ числѣ м-съ Пейнъ, еще горько плакали, другіе старались успокоить бѣдную Люси, которая рыдала, какъ будто надорвалось ея сердце. Многіе шопотомъ другъ другу передавали удручающее впечатлѣніе, произведенное на всѣхъ Велискуртомъ во время похоронъ—а „юродивый“, сидя одиноко у рѣшетки, *не хотѣлъ* утѣшиться...

— „Нѣтъ, нѣтъ“, бормоталъ онъ несвязно въ отвѣтъ тѣмъ, кто уговаривалъ его идти домой, — „я здѣсь останусь... съ дѣтьми и съ розами. Всѣ розы... всѣ дѣти... все, все умерло... я съ ними останусь—радость прошла!...“

Велискуртъ оставался на кладбищѣ, пока не разошлась вся маленькая толпа. Стоя у могилы сына, онъ молча, пристально смотрѣлъ въ нее.

Рубенъ Дейль съ минуту остановилъ на немъ свой добрый, участливый взглядъ, и голосомъ, полнымъ состраданія, тихо сказалъ:

— „Господь да поможетъ вамъ, сударь! Онъ одинъ можетъ дать вамъ силу перенести такое тяжкое горе!“

М-ръ Велискуртъ вздрогнулъ, и, обращаясь къ профессору Кадмон-Гору, съ раздраженіемъ спросилъ:

— „Этотъ молодецъ не желаетъ-ли получить что лишнее сверхъ положенной платы за его работу?“

— „Да, нѣтъ, нѣтъ,“ торопливо отвѣтилъ профессоръ—видимо онъ *угадалъ* натуру Рубена, и старался, чтобы не была имъ примѣчена столь безтактная выходка Велискурта. Однако Рубенъ и слышалъ, и уловилъ значеніе сказанныхъ словъ.

— „Я вижу, что вы совсѣмъ не поняли меня, сударь,“ началъ онъ, слегка краснѣя, и продолжалъ совсѣмъ свободно съ тѣмъ достоинствомъ, которое было ему свойственно. „Тому дней пять, я здѣсь похоронилъ собственными руками свою родную дѣвочку, и мои слезы орошали ея гробикъ—и хотя вы знатный баринъ, а я лишь бѣдный рабочій человекъ, все же есть нѣкая теперь связь межъ нами—сродное

горе должно сблизить наши разбитыя сердца. Вѣдь, *наши* дѣти вмѣстѣ здѣсь играли... и послѣднія слова моей Жесмины были: „Лилѣ скажите, что его я люблю.“ Желаніе бѣднаго мальчика быть похороненнымъ возлѣ нея въ Коммортинѣ ясно доказываетъ, что и онъ думалъ о ней, когда добровольно снискалъ себѣ эту ужасную смерть... Пути Божіи, не наши пути, сударь,—что-то таинственное произошло между этими двумя дѣтскими душами... намъ оно не вѣдомо, но вѣдомо Господу, Который взялъ ихъ обоихъ къ Себѣ. Они ушли отъ насъ... горько намъ безъ нихъ... знаю, по себѣ, *какъ* горько—и оттого я взялъ на себя смѣлость сказать—помоги вамъ, Господь!—не желая вовсе симъ оскорбить васъ—а просто выразить сердечное участіе одного человѣка къ другому, ему подобному, человеку.“

Велискуртъ съ изумленіемъ выслушалъ длинную рѣчь этого простолюдина—этого пономаря, который осмѣливался *въ немъ* видѣть своего—*ближняго*... и, гордо озираясь, холодно произнесъ:

—„Благодарю васъ. Быть можетъ, ваше намѣреніе весьма похвальное—но знайте, что я не признаю, чтобы были „пути Божіи,“ и во всей этой исторіи не вижу вмѣшательства Божьяго—по той простой причинѣ, что—въ Бога я не вѣрую!“

— „Неужели это такъ, сударь!?...“ съ тихой грустью сказалъ Рубень, „въ такомъ случаѣ, я еще больше жалѣю васъ... жалкій, по истинѣ жалкій тотъ человѣкъ, который Бога не ощущаетъ съ собою... и жизнь страшна ему, и смерть страшна... какъ справиться ему одному со своимъ горемъ—не уйдетъ оно—что ни говорите, оно все же при васъ—вы своего ребенка потеряли...“

Велискуртъ взглянулъ на пономаря, взглянулъ на могилку, и ироническая улыбка показалась на презрительныхъ его губахъ.

— „Эта потеря поправима—я могу и снова жениться...“ Онъ отвернулся, и мѣрнымъ шагомъ направился къ выходу.

Профессоръ Кадмон-Горъ, послѣ минутнаго смущенія, одной рукой приподнялъ свою старую мягкую шляпу, а другую протянулъ Рубену. Рубень, видя слезы въ старческихъ его глазахъ, понялъ—и безъ смущенія крѣпко пожалъ своей грубой, широкой рукой худощавую руку ученаго.

— „Я любилъ его—любилъ этого маленькаго мальчика,“—дрожащимъ голосомъ проговорилъ профессоръ. „Я, который никогда никого не любилъ,—научился любить его! Вы человѣкъ добрый, сердечный, вы не откажете присматривать за его могилкой... его отецъ, конечно, больше никогда его не вспо-

мнить, и мнѣ было-бы больно думать, что запущено послѣднее мѣсто упокоенія бѣднаго ребенка. Если будетъ какой расходъ, я съ радостью...“—но тутъ Рубенъ перебилъ его.

— „Какой-же расходъ, сударь? расходъ будетъ лишь въ моихъ слезахъ,—а онѣ только помогутъ цвѣтамъ выростать! Вѣдь, онъ лежитъ совсѣмъ рядомъ съ моею Жесминой,—и пока я живъ, и служатъ мнѣ мои руки, ихъ милыя могилки будутъ цвѣсти красотой, расходъ будетъ лишь въ слезахъ, да въ любви!“

Профессоръ снова протянулъ руку Рубену, и снова Рубенъ крѣпко пожалъ ее.

— „Прощайте! благослови васъ Господь!“ сказалъ онъ.

— „Храни васъ, Господь!“ отвѣтилъ Рубенъ.

И, бросивъ еще взглядъ на милую могилку, профессоръ задумчиво побрелъ по одинокому своему пути.

.....

День вечерѣлъ. Кладбище давно опустѣло, только въ церкви еще оставался органистъ, готовясь къ воскресному богослуженію—и тихіе звуки умильнаго пѣснопѣнія: „Вниду въ Твои селенія дивныя...“ доносились до вновь засыпанной могилки, на которой,

точно скипетръ ангельскій, возлежалъ длинный, цвѣ-
тущій стебель бѣлоснѣжныхъ лилій. Другой, такой-же
стебель украшалъ и могилку Жесмины,—а межъ
могилками—малиновка—пріюлась въ кустахъ, распѣ-
вала унылую свою вечернюю пѣснь, пока не зака-
тилось солнце и не наступила ночь.



ВЪ СИНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ

продаются слѣдующія изданія

К. П. Побѣдоносцева:

О подражаніи Христу. Омы Кемпійскаго. Изд. 6-е.
СПБ. 1896. Ц. 1 р. 25 к.

**Исторія православной церкви до начала раздѣ-
ленія церквей.** Изд. 4-е. СПБ. 1898. Ц. 75 к.

Праздники Господни. Изд. 4-е. М. 1898. Ц. 50 к.

Побѣда, побѣдившая міръ. Изд. 9-е. М. 1898.
Ц. 45 к.

Московский Сборникъ. Изданіе 4-е. М. 1897.
Ц. 1 руб. 40 коп.

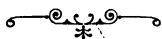
Основная конституція, человѣческаго рода. Соч.
Ле-Плѣ. М. 1897. Ц. 75 к.

Вѣчная память. Воспоминанія о почившихъ. Изд. 2-е.
М. 1899. Ц. 75 к.

Новая школа. Изд. 2-е. М. 1899. Ц. 50 коп.

Христіанскія начала семейной жизни. Соч. Тирша.
М. 1899. Ц. 75 коп.

Сборникъ сочиненій Гилярова-Платонова. М. 1899.
Два тома. Ц. 4 руб.



„ИСТОРИЯ ДѢТСКОЙ ДУШИ“

ПРОДАЕТСЯ

ВЪ СИНОДАЛЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ.

Цѣна 1 руб.



This book should be returned to the Library on the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

This book should be returned to
the Library on the last date stamped
below.

A fine of five cents a day is incurred
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.

